АНАСТАСИЯ ЕРМАКОВА

Осень на Сиреневом бульваре

Анастасия Ермакова

Осень на Сиреневом бульваре (сборник)

«У Никитских ворот»

2017

УДК 82-3
ББК 84(2Рос=Рус)6

Ермакова А. Г.

Осень на Сиреневом бульваре (сборник) / А. Г. Ермакова — «У Никитских ворот», 2017

ISBN 978-5-00095-311-2

Москва Анастасии Ермаковой – это не просто место действия или место встречи героев, это место сращения судеб, город, где рождаются и умирают, где живут, вопреки несправедливому мнению о столице, отзывчивые и добрые люди. Многие герои рассказов автора – москвичи, причем не просто по прописке, а по принципу внутреннего родства города и человека, по принципу взаимной необходимости.«Осень на Сиреневом бульваре» – книга лирично-философских миниатюр. О чем они? Одновременно и о самом главном, и о самом неприметном – о том, что происходит в нашей жизни, когда за ней никто не наблюдает. Никто, кроме писателя. Тема «маленького человека» в прозе Анастасии Ермаковой приобретает новое смысловое звучание.

УДК 82-3
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-00095-311-2

© Ермакова А. Г., 2017
© У Никитских ворот, 2017

Содержание

Рассказы 2016 года 6
Фронтовик 6
Няня 9
Поэта лира золотая 13
Бюст неизвестно кому 16
Пора в отпуск 19
Совершенно здорова 22
Профессор Ли 24
Вальс 27
Лето звонкое 29
Старая дача 32
Мертвый груз 34
Рассказы 2002–2009 36
Мамаиха 36
Псевдоним 39
Недальнее плавание 43
Конец ознакомительного фрагмента. 44

Анастасия Ермакова
Осень на Сиреневом бульваре (сборник)

© Ермакова А.Г., 2017
© ИПО «У Никитских ворот», 2017

* * *

Рассказы 2016 года

Фронтовик

В воскресенье мне предстояло ехать через всю Москву брать интервью у поэта-фронтовика Алексея Муравина. Старику было девяносто два, и вроде, по наведенным справкам, он еще не выжил из ума.

Перед этим почитала его стихи – искренние, добрые, жизнеутверждающие. Странно, что у людей, прошедших войну, мироощущение более светлое, чем у последующих поколений. Казалось бы, должно быть наоборот. Чем дальше от войны, тем поколение благополучнее. Но нет. Воевавшие умеют ценить радости мирного времени гораздо больше тех, кто рос в покое и благоденствии.

70-летие со дня Победы. Господи, думала я, какими же мальчишками пошли в бой нынешние ветераны, как же им было страшно, как же хотелось обратно домой…

Муравин жил на «Бабушкинской», довольно далеко от метро, в крохотной двушке облезлой панельной девятиэтажки.

Поднялась на лифте на четвертый этаж, позвонила в дверь. Звонок тренькнул слабо, будто и сам состарился вместе с хозяином. Открыла его жена, говорят, четвертая по счету, плотная, уютная, лет шестидесяти пяти, больше похожая на продавщицу маленького сельпо, чем на музу поэта. Татьяна Георгиевна. Прямо в коридоре окутывал запах лекарств и опрятного стариковского жилья. Коридор был узким, тускло освещенным висевшей на шнуре сорокаваттkой, на ромбическом бугрящемся линолеуме стояло две пары стоптанных серо-коричневых тапок.

– Выбирайте любые, – великодушно предложила хозяйка.

Я сунула ноги в первые попавшиеся, спросила, где помыть руки. «Прямо как врач», – подумалось. И ванна, и туалет крохотные, обшарпанные, с обвалившейся местами плиткой и ржавыми разводами на потолке. Из крана методично и заунывно подкапывала вода на пошедшую мелкими серыми трещинками раковину. Руки вытерла застиранным, с вытертой махрой полосатым полотенцем – не знаю, чье оно, Муравина или его супруги. Создавалось ощущение, что все вещи в этой квартире выдохлись, выбились из сил после долгой службы и теперь просто доживают вместе с хозяевами, кое-как выполняя свое предназначение.

– Вот его последняя книга, – говорит Татьяна Георгиевна, протягивая мне тощее издание в мягкой обложке.

– Спасибо. А кто издал?

– Да кто ж сегодня издаст стихи? Сын Алексея Никитича. Подарок вот сделал отцу к 70-летию Победы.

– М-м-м. Но ведь Муравин же был известный в свое время поэт. Тем более что он фронтовик. А сегодня их, живых, вообще по пальцам пересчитать…

– Да никому они не нужны, – просто, без всякого трагизма сказала Татьяна Георгиевна, – ни поэты, ни фронтовики. Вот еще что, – тронула меня за руку, – он у меня лежачий и говорит с трудом, но вы не пугайтесь, ум у него еще ясный. Вы свои вопросы задавайте, он промычит, а я уж переведу.

Мы вошли в небольшую комнату, где на кровати у стены, завернутый в красно-черный клетчатый плед, лежал старик с закрытыми глазами, словно мертвый. Присмотревшись, я увидела, что плед все же мерно шевелится, значит, дышит.

– Алеша, Алеша, – Татьяна Георгиевна осторожно дотронулась до плеча мужа, – к тебе журналистка пришла. Хочет у тебя интервью взять.

Поэт открыл глаза – они оказались черны и глубоки, без мутной старческой поволоки. Еще сильнее выступили скулы и острый, с небольшой горбинкой, нос. Он силился улыбнуться – шея его напряглась. Я улыбнулась в ответ, но близко подходить не стала, подумала, вдруг ему это будет неприятно.

Муравин что-то неразборчиво и хрипло пробормотал.

– Я же говорила, что потребуется перевод, – грустно усмехнулась его жена. – Алексей Никитич говорит, что давно не видел такой красавицы, как вы.

Странно, почему-то этот комплимент от умирающего старика был мне приятен. Вместе с тем я почувствовала, что меня начинает бить озноб, – балконная дверь была настежь открыта. Холодный майский воздух плыл в комнату, но его свежие ароматы тут же тонули в вязкой лекарственной дремоте. Даже солнечный луч, в котором толкались суматошные пылинки, казался уставшим и лишним.

– Ну что же, задавайте свои вопросы, – попросила Татьяна Георгиевна, – а то он может заснуть в любой момент.

Я сажусь на помпезный стул с высокой кожаной спинкой и резными ножками, так не подходящий к скромной безликой обстановке обиталища больного, и задаю вопросы про первый день войны, про первый бой, про то, что чувствовал тогда юный мальчик Леша Муравин…

Жена прекрасно его понимает и пересказывает мне, а мой диктофон послушно записывает интересный, живой рассказ ветерана.

– Вам было очень страшно? – спрашиваю.

– Да, – признается честно. – Страшно. Очень.

Я узнаю о том, что в тридцать седьмом у Муравина расстреляли отца и в старших классах мальчик уже доучивался «сыном врага народа». Но нет, он не держит зла на свою страну, он и сейчас готов отдать жизнь за Родину…

– А когда кричали, идя в атаку, – за Родину, за Сталина! – так и думали на самом деле?

– Господи, нет, конечно. За Родину – да. За оставленных дома матерей, жен и детей, у кого уже родиться успели. Некоторые Богу молились. Многие ведь ребята верующие были, крестились перед боем, только тайком, словно это что-то постыдное… А Сталин? Это миф, который навязали целому народу и сегодня пытаются навязать снова. Поставьте рядом Николая II и Сталина и посмотрите на их лица. В одном лице – ум и благородство, в другом – хитрый кавказский прищур. Что тут еще говорить? Никогда, никогда не прощу ему смерть отца, – внезапно слезы потекли по лицу старика. Жена, ни слова не говоря, подошла и бережно вытерла их носовым платком.

Я просидела у его постели минут сорок пять, хотелось говорить и говорить с ним, но чувствовалось, что он уже очень утомлен: под глазами появились темные круги, губы тряслись, натужно двигался кадык. Татьяна Георгиевна то и дело поила его водой.

Что ж, интервью окончено. Считай, материал на полосу готов. Встаю, благодарю. Смотрю на его худую руку, на кисть с резко выпирающими синими жилами, на скрюченные пальцы, которыми когда-то он держал ручку и писал прекрасные стихи. Неожиданно для себя самой наклоняюсь и целую ее. Алексей Никитич улыбается мне обреченной и какой-то нездешней улыбкой.

Вспоминаются его строки о войне.

Вы все такие же, девчата,
А мы вернулись стариками…

– Берегу его, как могу, – шепчет мне в коридоре Татьяна Георгиевна. – Целыми днями при нем, не отойти никуда, ничего, так и кручусь с утра до вечера… А заснет – так я бегом в магазин и все переживаю: как он там без меня? Думаю, вдруг умрет, а меня рядом нет…

– Держитесь, – говорю ей, не зная, как утешить. – Я вот что еще хотела сказать. А вы не пробовали обратиться куда-нибудь, ну там в правительство Москвы, чтобы помогли как-то… Алексей Никитич ведь москвич?

Супруга поэта кивает:

– Коренной.

– Ну вот. Напишите туда письмо, что поэт, ветеран Великой Отечественной войны живет в таких условиях, что он очень болен и не имеет возможности издать книгу…

– Вы думаете, в этом есть смысл?

– Не знаю, – говорю честно. – Но уж книжку-то достойную, в твердой обложке, ваш муж точно заслужил.

– Это да, это да, – торопливо соглашается она, – напишу, напишу, попробую, хуже-то уже не будет. – И вот еще что, – вдруг вспоминает. – Алеша очень просил. Его третья жена, Эльвира Сергеевна, тоже ведь была писательницей, неплохую, кстати, прозу писала, так вот, он просил ее книгу вам передать, может, отзыв какой в газете напишете. Скоро исполняется сто лет со дня ее рождения. Она старше Алеши была на восемь лет…

– Да, да, конечно, – беру книгу, читаю: «Эльвира Горынина. Будни». Кладу в пакет рядом с книгой Муравина. Пусть там лежат рядышком, обложка к обложке, дышат друг на друга, согревают.

– А вот еще диск с его песнями, чуть не забыла, послушайте, когда время будет… Он с ней-то, с Эльвирой, был очень счастлив, – задумчиво говорит Татьяна Георгиевна, и я не могу понять, ревнует она или нет.

Замечаю, что сейчас жена Муравина вовсе не похожа на продавщицу, как мне вначале показалось. И в молодости она скорее всего считалась хорошенькой. Не знаю, был ли счастлив поэт со своими предыдущими женами, но вот с этой – да, наверняка. С теми, предыдущими, он жил, а с этой умрет, именно она будет держать его руку перед смертью, именно она в последний раз заглянет в его умные и грустные глаза.

Не торопясь бреду к своей машине. Надо мной купол зонта – погода поменялась: моросит прохладный майский дождик. Прижимаю пакет с книгами к себе, чтобы не замочить. Представляю, как беззащитно спит завернутый в красно-черный плед полуживой фронтовик. И права его жена: абсолютно никому нет до него никакого дела. Только вот мне, да и то по работе. Разве поехала бы я по своей воле на другой конец Москвы, да еще в выходной день?

Милый, милый Алексей Никитич. Великий и ненужный человек. Получивший от своей Родины смертный приговор для отца и потом сражавшийся за нее, рискуя жизнью.

По пути домой включаю диск с песнями на стихи Муравина. Гордые и горячие слова бессмертно уплывают в полуоткрытое окно и растворяются в воздухе.

Няня

Она мне сразу не понравилась, эта третья претендентка на роль няни к моему полуторагодовалому сыну. Марина. Необъятно толстая – живот спускался в несколько ярусов чуть ли не до колен, ограниченная (образование всего десять классов), да еще и без детей.

– Я отлично умею ладить с малышами, – заявляет она прямо с порога. – Предвижу ваш вопрос, а потому отвечу сразу: своих детей у меня нет.

– Понятно, – киваю я и собираюсь тут же ее выпроводить, но что-то меня останавливает. Может быть, брезгливая жалость к ее неестественной полноте. – Проходите на кухню, – приглашаю.

«Наверно, ей трудно устроиться на работу», – размышляю я, разглядывая грубое лицо с выпученными глазами и носом-пуговкой. Руки, словно надувные, она держит крепко сцепленными на бугре живота.

– Опыт работы у меня двенадцать лет, а мне тридцать девять. Кроме того, я очень люблю готовить. Вот, посмотрите!

Марина включает свой планшет, показывает мне фотографии каких-то причудливых блюд: в сосиску продета извивающаяся вермишель, или кусок индейки с сыром, утыканный зубочистками и похожий на ежика… И еще с десяток подобных кулинарных изысков.

– Вы хотите сказать, что будете здесь все это готовить? – недоверчиво спрашиваю.

– Да запросто! Хотите, я и вас научу?

– Пожалуй, нет.

Говорит она громко и бурно, чуть с хрипотцой, проглатывая окончания некоторых слов. Марина слишком хочет понравиться. Лицо ее покрывается мелкими капельками пота, блестят, будто засахаренные, чересчур сильно залаченные короткие волосы.

И тут на кухню выходит мой худенький малыш, заспанный, в одних трусиках, и немедленно начинает рыдать.

– Мам, – кричит из комнаты восьмилетняя дочка, – он проснулся, и я вынула его из кроватки. Сама вынула! – она ждет похвалы.

– Ну какая же ты у меня молодец! А вам, – улыбаюсь няне, – вам, наверное, уже пора, мне сейчас сына нужно кормить.

Марина делает вид, что не слышит.

– Иди ко мне, – протягивает руки к ребенку, – как его зовут?

– Илюша.

К моему изумлению, Илья подходит к няне и, недолго думая, вскарабкивается на ее необъятный живот, кладет голову ей на плечо и затихает.

– Какой милый мальчик, – гладит она его волосы, – чудесный малыш…

Так она у нас и осталась.

Приходила четыре раза в неделю, прекрасно ладила с моим сыном, который ее обожал.

Марина – классическая болтушка. Тема была не важна, главное, сам процесс разговора – бурливый, быстрый, с летящими во все стороны словами-брызгами. «Я плачу ей деньги, ее проблемы не должны меня волновать», – внушала я себе, а она тараторила:

– А мой вчера опять нажрался, сволочь, ни одного дня трезвый не бывает! И где только деньги берет, я же ведь ему не даю… Пришла вчера домой, думала – отдохну, где там! У свекрови-то руки все скрюченные, почти не действуют, а свекр лежачий, кто за ним ухаживать-то будет? Получается, что я. А мне оно надо? Нет, меня кто-нибудь спросил – оно мне надо? Я вчера весь день, весь день чувствовала – что-нибудь плохое случится, что-то случится… И вот. Представляешь – свекр с кровати грохнулся. Прихожу – лежит. Мой алкаш спит, ничего

не слышит, а свекровь сидит рядом и плачет – поднять-то его не может… Пришлось МЧС вызывать. Вообще жесть. Можно подумать, это мои родители. Вот скажи, на кой мне весь этот геморрой сдался? Потом до ночи готовила. На всех. Кто им еще приготовит-то? В час ночи рухнула в кровать. А утром встала в шесть, еще уборку сделала – и к тебе.

– Ужас! – искренне посочувствовала я.

– Да вообще жесть.

Так и жили. Он жалела меня – двое детей, работа, дом – все на мне, а я – ее: муж – алкоголик, свекр – инвалид, свекровь – полуинвалид.

Но были в ее жизни и радости. Например, татарин-любовник. Не знаю уж, почему именно татарин.

– Он такой нежный, он такой, такой… Мой-то давно уже ничего не может. Еще бы – столько бухать. И имя у него такое красивое – Наиль. Встречаемся только редко – один-два раза в месяц, чаще никак, у него жена и сын семилетний, он его та-а-ак любит… А мой-то козел еще и ревнивый, узнает – убьет! И ушла бы давно от него, но куда? В нашей с сестрой двушке она сама и живет со своей семьей: муж, трое детей… И куда я туда припрусь? Вообще жесть. Но и у тебя тоже жизнь – кошмар. Вижу, как ты зашиваешься, без продыха, бедная ты моя…

– Бедная ты моя, – эхом вторила я.

Пару раз мы отправлялись с мужем в отпуск, оставляя ее одну с Илюшей. И знали – все будет в порядке, и с квартирой, и с ребенком. Летом, уезжая на дачу на выходные, я разрешала ей встречаться в нашей квартире с любовником. Потом приходилось слушать подробный страстный отчет о том, как они вот на этом диване и как они в ванной…

Когда Илюша засыпал, она включала планшет и начинала писать стихи. Неуклюжие и искренние – про времена года и про любовь, про своего пропащего мужа и обожаемого Наиля…

Так и строчила – по два-три в день. Потом читала мне. Поначалу я что-то подсказывала ей, даже пыталась править, но потом махнула рукой:

Нет прекрасней моего Наиля –
С ним попала будто в зону штиля…

Все случилось внезапно.

В августе мы поехали на десять дней в Турцию. Я, муж и дочка. А сын остался с няней.

Морские радости оглушили, ежедневное солнечное блаженство притупило тревогу за Илью, да и что было тревожиться? Марина не подведет. Марина – отличная няня. И так любит нашего мальчика.

Дочь плескалась в бассейне часами, предпочитая голубую хлорированную воду бирюзовой средиземноморской. А мы с мужем валялись на пляже, ни о чем не думая, почти не разговаривая и даже не читая – просто растворялись в жарком, истекающем курортной сладостью воздухе и наслаждались бездельем…

Когда вернулись – в квартире никого не было: ни няни, ни сына.

Я сначала даже не испугалась, подумала: может, гуляют? Но Маринин мобильник не отвечал. Прождали пару часов, разбирая чемоданы, потом затревожились, и, наконец, все надежды на благополучный исход смял грозовой ужас осознания случившегося.

– Немедленно поехали к ней домой! – решил не меньше меня перепуганный муж.

И тут я поняла, что даже не знаю ее адреса. Знаю только, какой дом, а в квартире так ни разу и не была.

– Ты безалаберная! – орал муж. – Как ты могла отдать ребенка неизвестно кому и неизвестно куда?! А паспортные данные ее ты хоть переписала?

– Нет.

– О боже! – супруг мой порой впадал в настоящие истерики. – Боже! Что же теперь делать? Где наш сын?! Давай звонить – в полицию, в МЧС, в скорую – не знаю куда!

– А в скорую-то зачем? Ладно, поехали к ее дому! Кажется, она что-то говорила про вид с седьмого этажа…

И мы поехали. К счастью, подъезд оказался всего один. Мы поднялись в лифте на седьмой этаж. На лестничной площадке было четыре двери.

– Я знаю, как найти брата! – сказала моя дочь. – Тихо!

Она подошла к одной из дверей, приложила к ней ухо, послушала. При этом она закрыла глаза и зачем-то водила по кругу руками – насмотрелась «Битвы экстрасенсов».

– Здесь его точно нет!

– Это тебе не игра! – разозлилась я.

– А я и не играю, – обиделась дочь, – сами тогда ищите!

Я обошла все четыре двери, так же, как дочь, прислушиваясь к их тайной жизни.

За одной из них отчетливо услышала детский плач. Не было никакого сомнения – плач нашего сына.

– Он здесь! – Я яростно надавила на звонок и, не дожидаясь ответа, забарабанила в дверь кулаками. Присоединился и муж. Мы звонили и звонили, и стучали в дверь кулаками и ногами.

Наконец нам открыли: на пороге стояла испуганная Марина с зареванным Ильей на руках.

– Ты что, с ума сошла?! – накинулся на нее муж.

– Илюшенька, мальчик мой, иди скорее к маме! – плакала я и целовала его куда попало.

– Я тебе покажу, гадина, как детей воровать! – супруг мой крепко ухватил няню за волосы.

– А-а-а-а, отпусти, отпусти! – завизжала она.

Прибежал ее пьянющий муж, попытался вырвать свою жену из рук разъяренного отца Ильи, за что крепко получил по физиономии. В довершение ко всему я отвесила Марине звонкую пощечину.

– Так, все, хватит! – крикнула моя дочь. – Прекратите! – и ткнула в пальцем в Марину. – Это не няня, это чудовище. И мы должны расколдовать ее, превратить обратно в добрую фею.

…Потом Марина долго причитала, умоляя не сдавать ее в полицию, а супруг ее, слегка протрезвевший от потасовки, был спешно отправлен в магазин за тортом.

– Я не знаю, зачем я это сделала, не знаю, – всхлипывала Марина, – мне просто захотелось представить, что у меня есть сын, что Илюша – мой сын, понимаете?

Мы сурово молчали.

– Я увезла его сразу, как только вы уехали. И все десять дней была ему настоящей мамой.

– Настоящая мама у него только одна, – назидательно сказала дочь, – вот она, – ткнула в меня пальцем.

– Да, да, я знаю, – закивала няня, – знаю, но мне так хотелось… так хотелось ощутить… Вы же знаете, у меня не может быть детей. Никогда, понимаете? Ни-ког-да!

– И поэтому ты решила украсть нашего? – сжал кулаки муж.

– Простите, простите, я не знаю, что на меня нашло… Я так хотела побыть мамой… Вы только в полицию не сообщайте, ладно?..

* * *

Сейчас Илюше два с половиной года. До садика еще полгода.

Он гуляет с няней на детской площадке, сидит в песочнице, увлеченно насыпая песок в ковшик большого желтого экскаватора.

– Малина, Малина! – зовет он няню. – Смотли. Какой у меня полный коф пефка!

Марина кивает и мечтательно улыбается, глядя на ребенка.

Именно я настояла на том, чтобы ее у нас оставить. Муж, конечно, был против. И дочь предостерегала: злые силы опять могут заколдовать ее и превратить в чудовище. Но я знала: ни одна няня не будет относиться к нашему сыну как мать. Никто. Кроме бездетной, беспутной и несчастной Марины.

Сейчас я жду третьего. Няню для него искать не придется – она у нас уже есть.

Поэта лира золотая

Когда Иван умер, мне даже не было особо жаль. Ну жаль, конечно, но так, как жалеют соседа по лестничной клетке, – с безболезненным любопытством.

На протяжении двадцати пяти лет Иван звонил мне раз пять-шесть в год, ночью, пьяный, неразборчиво и напористо читал мне свои стихи.

– Признай, что это гениально! – требовал он.

– Да, гениально, – соглашалась я, – а можно теперь я пойду спать?

– Но я хочу прочесть еще одно! Прошу – послушай! Для меня это вопрос жизни и смерти!

– Вань, не паясничай, – раздражалась я. – Позвони завтра, я спать хочу.

– Ну пожа-а-а-алуйста, – канючил он, как ребенок.

И я сдавалась:

– Ладно. Но только одно!

Когда наконец вешала трубку, то знала: ближайшие пару месяцев он не позвонит.

Иван пил последние лет тридцать беспробудно. У него две взрослых дочери и жена, которая давным-давно его бросила. Жил он один на даче, где-то под Клином, московскую квартиру сдавал – на это и существовал. Несколько раз в году появлялся на заседании литературного клуба «Оберег» и читал чаще всего что-то метафорически-мутное, но по-своему обаятельное. Были и по-настоящему хорошие, вполне внятные стихи.

Не трать все деньги на вино,
купи недорогую куклу
и на Рогожском полкило
отталой красной клюквы.
Не ради праздника, а так –
во вторник или в понедельник,
когда подступит немота –
хватило б денег.
Глядишь – на сердце отошло,
привыкнув к ноше.
Не торопись, все хорошо.
Всего хорошего.

Однажды, по молодости, крепко поднабравшись, мы заночевали вместе с Иваном у его друга, такого же талантливого алкаша. Спали все вместе, в одной комнате и в одной кровати – другой в квартире просто не было. Под утро я проснулась от того, что Иван целует мои капроновые щиколотки и что-то страстно бормочет.

Я вообще не воспринимала его всерьез. Весь он какой-то маленький, щуплый, лысеющий, в очках. От него всегда пахло перегаром, и мне всегда было жаль его, такого несуразного, доброго и пропащего.

На заседаниях литклуба он слушал других рассеянно, видно было, что ему невыносимо скучно, зато жадно, словно дорвавшись до холодной воды в жару, читал свое. Время от времени доставал целую пачку соды, сыпал ее себе в рот, запивал водой. Говорил – изжога замучила.

Иногда я спрашивала:

– Вань, может, все-таки перестанешь пить? Помрешь ведь…

Он грустно улыбался и торжественно читал Блока:

Пускай я умру под забором, как пес,

Пусть жизнь меня в землю втоптала.
Я верю: то Бог меня снегом занес,
То вьюга меня целовала.

Иногда сердобольные поэтессы «Оберега» собирали какую-то еду и везли ее к Ивану на дачу, кормили его, убирали дом, стирали. Мне же всегда такая забота казалась чрезмерной. Я упорно отказывалась от этих поездок: ну зачем мне возиться с чужим спивающимся мужиком, хоть и поэтом?

Последний раз Иван позвонил полгода назад. Как всегда, ночью. Но стихов читать не стал. Сказал, что у него рак горла. Третья стадия. И ему тяжело говорить – из горла торчит трубка… Не могла бы я приехать к нему на дачу? Или в онкологический центр, чтобы поговорить, посидеть вместе в очереди? Я представила себя сидящей в унылой очереди раковых больных, и хриплые Ванины жалобы, и трубку эту, торчащую из горла… И главное – слезы, не пьяные, а настоящие трезвые слезы, потому что теперь, перед смертью, он наконец перестал пить.

Но я не поехала. Ни на холодную зимнюю дачу с застоявшимся кислым запахом давно не стиранных вещей и многолетнего, въевшегося даже в обои перегара, ни в онкологический центр посидеть в страшной очереди за смертью и подержать Ивана за высохшую стариковскую руку.

Только в газете напечатала подборку его стихотворений.

– Спасибо, – грустно поблагодарил. – Только мне это уже все равно. А вот если бы ты приехала ко мне… Мне так одиноко… и страшно. Приезжай, а? Ты мне нужна…

Но я так и не нашла для этого времени.

…А потом он умер. Я и не сразу узнала об этом. Только через пару месяцев свиделась с его давней подругой и поклонницей Инной, она-то мне все и рассказала. И о его последних днях, и о том, как она сидела с ним в очередях на химиотерапию, а он все твердил обо мне.

– Знаешь, за несколько дней до смерти он мне признался, – таинственно сообщила она.

– В чем? – Мне почему-то стало не по себе.

– В том, что он всю жизнь любил тебя. Тебя одну. И больше всего на свете хотел перед смертью тебя увидеть.

– Да, он просил приехать, но я… в общем, у меня…

– И я ему призналась тоже, – перебила Инна. – Набралась смелости и призналась. В том, что любила его. Много-много лет. И тогда, когда он женился-разводился. И тогда, когда у него рождались дочери, и тогда, когда он говорил о своей любви к тебе. Я ведь посвятила ему целый цикл стихотворений…

Я стояла, оглушенная внезапным двойным признанием, чувствуя свою вину перед этими двумя людьми: умершим Иваном и живой, стоявшей передо мной Инной.

– А Ваня не знал? Ну, что ты его любила?

– Думаю, догадывался…

– Прости, – сказала я ей.

– Да за что же?

Я пожала плечами. Как было объяснить то, что объяснить нельзя?

– Наверное, я не имела права на его любовь…

– Зато он имел право любить тебя, хоть и никогда не надеялся на взаимность. – Инна погладила меня по руке.

– Когда поедешь к нему на кладбище, возьми меня, ладно? – попросила я.

Инна кивнула.

– А помнишь, – встрепенулась она, – его строки:

Ты видела – она живая,
среди оржавленных оград,
поэта лира золотая,
переходящая в закат[1].

Мы одновременно посмотрели на небо. Лиловый февральский закат был холоден и высок.

Постояли немного на талом ветру, помолчали.

Прощай, милый Ваня, прощай.

И прости.

[1] *Стихотворения Петра Дегтярева.*

Бюст неизвестно кому

Ах, вот каким он стал… Будто усох. Лицо словно уменьшилось в размере, морщины проступили резче, рыжая щетина поседела. Только глаза остались те же. Почти. Но в них теперь не плескались бурные отчаяние или радость, как прежде, а медленно колыхалась спокойная усталость.

И – удивление, когда увидел ее, цветущую, сорокалетнюю, давным-давно чужую. Оглядел придирчиво, оценивающе: да, располнела, да, уже не та наивная девочка, которая ловила каждое его слово, читала каждую его книгу, не осмеливаясь сделать ни одного замечания – да кто она такая? Но еще хороша, ой как хороша. Не сказал, но она считала все это за несколько секунд в его взгляде.

Она позвонила ему месяц назад, пригласила на презентацию своей книги рассказов.

– Ты? – удивился он. – Ты пишешь рассказы?

– Я и тогда писала.

– Когда?

– Тогда. Девятнадцать лет назад, когда мы…

– Неужели уже прошло девятнадцать лет?

– Представь себе.

На презентацию он не пришел. Позвонил только через три недели и сухо сказал, что если уж ей так важно его профессиональное мнение, то он готов встретиться с ней.

– Где?

– Ну, где-нибудь в метро, в центре… Давай на «Китай-городе». Знаешь, там в фойе бюст такой стоит, не помню кому, так вот, возле него. В пятницу часов в семь, нормально?

– Хорошо, – согласилась она. – В пятницу, в семь, у бюста неизвестно кому.

Он усмехнулся. Чувство юмора у него было всегда.

Последнюю станцию до «Китай-города» она вдруг сильно разволновалась: расстегнула пальто, стянула колючий шарф, провела рукой по вспотевшей шее – казалось, на коже остались и зудели мелкие черные ворсинки. Сразу неудобным сделалось все: каблуки – загудели ноги, волосы – челка постоянно лезла в глаза, сумка – несуразная и тяжелая.

Ну где же этот чертов бюст? Где? Оказалось, что это не тот выход. Вернулась назад. «Китай-город» – самая запутанная станция метро в Москве. Ну вот он, наконец-то, тот самый бюст. Возле него почему-то шумела целая толпа женщин. У всех на груди были приколоты бейджики: гильдия цветочников.

На нее, потерянно озиравшуюся, они не обратили никакого внимания. Она все-таки пробилась сквозь толпу и стала прямо у бюста, правда, так и не посмотрела – в честь кого он тут поставлен. Вдруг все показалось глупым и неуместным. Зачем она позвонила ему? Зачем нужно это свидание? Зачем? Не лучше ли развернуться и уйти? И тут она увидела того, кто назначил ей встречу: он стоял чуть поодаль, у стены и вяло помахивал рукой, будто ему было все равно – заметят его или нет.

– Тут такая толчея, я отошел немного, – сказал он, целуя женщину в щеку, привычно, небрежно, словно и не было этих разлучных лет. – Ты замужем? – спросил, когда ехали вверх по эскалатору. Она стояла на одну ступеньку выше, чем он, – так стоят парочки, которые собираются поцеловаться.

Ответила слишком торопливо, будто защищалась:

– Да-да, замужем, давно уже.

– А дети?

– У меня трое.

– Хм, мать-героиня, значит?

Да, она помнила – он никогда не хотел детей. И когда она все-таки забеременела, брезгливо выдал ей деньги на аборт. Тогда-то она и решила уйти от него. Именно тогда. Ее не пугала ни разница в возрасте, ни то, что он знаменитый писатель, а она студентка филологического факультета, ни то, что он обращался с ней высокомерно-снисходительно. Словно делал ей одолжение, любя ее. Или нет, он, пожалуй, и не любил. Любила она.

– А ты? Женат?

Мимо протискивались, поднимались вверх по эскалатору, задевая их локтями, люди. Куда они все торопятся? Москва – город, где все всегда торопятся и все опаздывают.

– Ну… так, – опустил глаза он.

– Что значит – так?

– Я живу. Живу с одной женщиной…

Живу. Вот и ей он предлагал – жить. Вместе. Как муж и жена. Но не жениться – ни в коем случае. Любовь в браке постепенно исчезает, уходит, как вода в песок, утверждал он. А так – долгое время чувства будут свежими.

Расспрашивать его о женщине, о той, с кем он сейчас, не хотелось.

– Детей у вас, конечно же, нет?

Он посмотрел ей в глаза – долго, внимательно, – высмотрел застарелую многолетнюю обиду.

– Нет, детей нет, – и как-то виновато – или ей показалось, что виновато, – улыбнулся.

– Я так и думала…

Вынырнули из горячего нутра метро в сырой март – дохнуло в лицо мокрым снегом, серым ветром, стылым шумом улицы. Они стояли и искали глазами какое-нибудь кафе. Вдруг стало не о чем говорить. Кафе поблизости, как назло, не оказалось, и только вдалеке, через дорогу, виднелись дружелюбные желтые окна какой-то кофейни. Пока пробирались туда по талым сугробам – он поддерживал ее под локоть, она то и дело оступалась, – промочили ноги. Одна какая-то рассеянная снежинка залетела ей в глаз, женщина сморгнула, потерла, почувствовала – размазалась тушь. Достать зеркальце было неловко – потом, потом.

С улицы кофейня смотрелась особенно уютно. Там при теплом свете сидели люди за столиками друг напротив друга, жестикулировали, разговаривали – губы их шевелились, время от времени они подносили к губам белые чашки.

Наконец они зашли, ежась и потирая замерзшие руки. Но все столики оказались заняты. И ей отчего-то сделалось стыдно: и за мокрый снег, и за то, что они промочили ноги, и за то, что в кафе нет свободных столиков.

– Может, пойдем в другое место? – предложила робко.

– Терпеть не могу переполненные забегаловки… – поморщился он. – Знаешь, пойдем-ка лучше обратно, к метро, у нас ведь не любовное свидание, правда? Ты, надеюсь, не обидишься?

– Как будто тебя это когда-нибудь беспокоило! – внезапно разозлилась она.

– Прошу, не начинай.

– Что – не начинай?

– Ты поняла, милая.

– Никакая я тебе не милая. И если ты думаешь, что ты… что я… То ты мне не нужен!

– Поэтому ты мне позвонила спустя почти двадцать лет? – усмехнулся он.

– Как был подлецом, так и остался…

– Ты права. Ну так что, тебе еще интересно мое мнение о твоих рассказах?

– Представь себе – да.

Молча поплелись к метро. Он снова подал ей руку, она оперлась на нее. Ей хотелось сказать ему что-то обидное, злое, но она только крепче прижалась к нему.

На эскалаторе, пока ехали вниз, протянула ему свою книгу. Он открыл, прочитал посвящение: «Помни о прошлом». Ну зачем она написала эту банальную чушь, зачем? – но было уже поздно.

– Спасибо, – сказал сухо. – Прочту, позвоню.

– Можешь не читать.

– Ты совсем не изменилась… – усмехнулся он.

– Что, такая же красивая?

– Такая же колючая.

– Но теперь, к счастью, ты от этого не страдаешь!

Внезапно он притянул ее к себе, поцеловал в губы. Осторожно, боясь, что она оттолкнет его. Но она не отстранилась…

– Ну вот, теперь нам будет что вспоминать еще девятнадцать лет, – грустно улыбнулся он.

– Ты не доживешь, – она погладила его по седой щетине.

– Ты всегда умела утешить…

Всю дорогу домой она мучила себя: зачем, зачем, зачем? Зачем она встречалась с ним? Зачем дала ему свою книгу? И зачем дала себя поцеловать? Может, ей захотелось приоткрыть одну из дверей в прошлое и посмотреть – что там, за ней? Все ли осталось нетронутым, таким, как было много лет назад? Или – рассыпалась слежавшаяся обида, выветрилось отчаяние, улетучилось разочарование? А может, там запустение, плесень, смерть, и время бесстрастно течет, загустевая, баюкая того, нерожденного ребенка? Но разобрать не успела – дверь резко захлопнулась – слишком тугая пружина, не разжать.

Вагон покачивался, а она все представляла, как он открывает ее книгу и читает. А там, в книге, вся ее жизнь, все-все о ней, даже то, что она никому никогда не смогла бы рассказать. И ему бы никогда не рассказала. А книга – что ж, ей можно, пусть она запоздало признается этому чужому немолодому человеку в любви, давно отцветшей, уже ни на что не годной. Но ведь было, было. Ей двадцать один, ему сорок, и они идут, счастливо держась за руки, не промозглым, а солнечно-дерзким мартом, бесстрашно идут в будущее, где вот-вот расстанутся.

Он не позвонил ни через месяц, ни через год.

А еще через пару лет она узнала, что он умер, от сердечного приступа, в метро. И странно, где-то недалеко от «Китай-города».

К семидесятилетию со дня его рождения вышло собрание сочинений в трех томах. Время от времени она берет какой-нибудь том, перелистывает, не читает, а так, задумывается, вспоминая и об их последней встрече в метро у бюста неизвестно кому, и о поцелуе на эскалаторе, и о том, что она теперь никогда, никогда не узнает его мнения о подаренной ему книге.

Пора в отпуск

Его звонок был практически неотличим от обычных звонков графоманов. А их, графоманов, три основные категории, несомненно, безумных в той или иной степени. Одни настырно и пылко требовали немедленно признать их гениальность и опубликовать бесплатно, хотя прекрасно знали, что звонят в платное отделение «Литературной планеты» – «Лит-Парнас». Другие немного заискивали, словно хотели понравиться мне заочно, по телефону, в надежде, что их произведения прочтут не за деньги, а так, для души, кое-кто даже советовал взять рукопись домой, на выходные, чтобы никто не помешал насладиться шедевром… И если первые отказывались платить наотрез, то вторые как раз наоборот: платили охотно, вперед, иногда задолго до публикации. Третья категория была, пожалуй, самой невнятной: они вроде и хотели бы напечататься, вроде и готовы были отдать за это деньги, но как-нибудь позже, не сейчас и не всю сумму сразу. Они дотошничали и занудствовали, доводя меня буквально до исступления. А присланные письма мы иной раз читали вслух, всей редакцией, и хихикали, встречая диковинные образы: тут, в этой кунсткамере, были и собаки с добрыми руками, и подмигивающие бородавки, и дамы с грудью набекрень, и комары, рыдающие, как младенцы, и осень, высосанная из пальца…

Я подолгу пила редакционный пакетиковый чай и читала-читала-читала бесконечные, большей частью бездарные рукописи.

Он позвонил и сказал, что хочет опубликовать свою прозу на полполосы, то есть на 50 тысяч рублей.

– Знаете, у меня интересный псевдоним – Блох. Нет, вы не подумайте, ничего общего с блохой, просто у меня фамилия Блохов, и я решил, что это слишком банально, а Блох вроде как оригинально, вы не находите?

– М-м-м…

– Ну так вот. Я, знаете ли, работал в театре у Дорониной – заведующим складом, ну, в общем, следил за всяким там театральным барахлом… И я написал пьесу, нет, нет, не о том, конечно, как работал завскладом, а о любви, о жизни.

– О том, как работали завскладом, было бы, возможно, интереснее, – осторожно заметила я.

– Да нет, что вы! Это пыльная и скучная работа, а вот сама театральная жизнь – это да-а-а! В общем, задумал я показать пьесу самой Дорониной – авось поставит ее в театре! Ну, значит, стою у лифта, поджидаю ее, время-то знаю, когда она приходит. Нервничаю очень, ладони вспотели, как перед экзаменом, честное слово. Вы же знаете, ходят легенды о том, что с ней нельзя вместе в лифт войти – тут же уволит! Но мне было нужно застать ее врасплох, ну, понимаете, когда она совсем не ожидает… Так, мучаясь от страха, простоял я часа полтора – она опаздывала, это за ней водилось… И вот наконец – идет. Величественная, как всегда, и краси-и-ивая! Я ее в лифт пропускаю, она мне кивает ласково, здоровается. Времени у меня несколько секунд – надо решаться.

«Татьяна Васильевна!» – немного даже торжественно получилось.

Она смотрит на меня чуть удивленно.

«Татьяна Васильевна! А я, представляете, пьесу написал! И очень хочу, чтобы вы ее прочли!»

Боже, каким неподдельным ужасом исказилось ее лицо! Будто я маньяк и приставил ей нож к горлу! Но – актриса есть актриса. Тем более гениальная. Вы слушаете меня?

– Да-да, – ответила я, заинтересованная.

– Ну так вот. Я говорю – актриса есть актриса. В руки себя быстро взяла, даже улыбнулась мне ободряюще – и окатила ледяным душем:

«Вы устраиваете нас совсем в ином качестве». Так и сказала – в ином качестве. Каково, а? Всего несколько слов, и – убила.

Вышли мы из лифта, я тут же пьесу свою, которую держал в папочке под мышкой, в урнуто и выкинул. Вот такая драматичная судьба драматурга… Хе-хе-хе. Вы слушаете? Поверите ли – я даже заплакал от обиды. Неловко – стою и плачу возле лифта, как мальчик маленький, заметить ведь могли…

– Сожалею.

– Да нет, нет, что вы, все нормально. С нашим братом так и нужно. Я, кстати, как раз о своей работе книгу и написал. Там есть и этот эпизод. Так что – напечатаете?

– Непременно. Пришлите мне текст на электронную почту.

Объяснила, как оплатить публикацию.

– Хорошо, жена моя в ближайшие дни сходит и оплатит. Я ведь, знаете, хе-хе, хожу совсем плохо – инвалид. И жена тоже инвалид – у нее одна рука не действует. У меня нога, а у нее рука – такая вот симметрия. Представляете, познакомились с ней у нас в пансионате для престарелых, совсем недавно, а мне ведь семьдесят четыре уже, поженились, нам даже отдельную комнату дали… А в этом году обвенчаться хотим… Нам вместе очень удобно: Соня в магазины ходит, а я готовлю. Вы слушаете?

– Простите, может, не надо мне все это рассказывать?

– Да нет, почему же? Мы теперь очень счастливы – я и Соня. Вы сообщите, когда газета выйдет? Мы приедем, купим, ну, скажем… пятьдесят экземпляров. Вы их отложите для нас, пожалуйста. Тут нам недалеко, из Подмосковья…

– Хорошо, конечно, я сообщу вам, когда будет публикация. И газеты отложу, не волнуйтесь.

– А я вас обязательно со своей Соней познакомлю!

Какое-то время я сидела в оцепенении и смотрела на телефон, словно он должен был поведать мне окончание этой странной истории.

– Совсем одолели графоманы, – посочувствовал мне Паша Горбунов, завотделом критики, горький пьяница и страстный любитель женщин.

Его стол стоял как раз напротив моего, и мы перешучивались целыми днями. Пять лет назад, когда он только пришел в редакцию и периоды трезвости значительно превышали запойные промежутки, казалось, что между нами вот-вот вспыхнет бурный и кратковременный служебный роман, но дальше необременительного флирта дело не пошло. Мой монолитный семнадцатилетний брак устоял под натиском взбалмошной любви. Да и ждать верности от женатого в четвертый раз Паши не приходилось.

– Знаешь, Паш, он, может, и графоман, но зато какая история!

– Да какая там на хрен история – графоман он и есть графоман, – махнул рукой коллега. – Пошли лучше пообедаем.

Вскоре я напечатала в нашей газете отрывок из книги Константина Блоха «В объятиях театра».

Название мы, разумеется, изменили.

– «В объятиях театра», – объяснила я автору, – никуда не годится.

– А по-моему, романтично, – упорствовал Блох. – Да, не помню, говорил ли я вам, публикация этого отрывка как раз приурочена к выходу моей книги.

– Тем более. Поверьте, название дурацкое. Только не обижайтесь. И в книге, если успеете, исправьте.

Константин задумался.

– А какое вы предлагаете?

– Ну, например… Сколько, говорите, лет вы работали в театре?

– Пятнадцать.

– Тогда давайте назовем так: «Пятнадцать лет вместе с Дорониной».

– Что, прямо так и назвать, – старик закашлялся, – а не подумают ли чего-нибудь такого?

– Да и пусть думают. Главное, чтобы книга продавалась.

– Жена ревновать будет, – игриво хихикнул он. – А в общем-то неплохо.

И вот они приехали в редакцию оба: моложавый высокий Константин с палочкой и его Соня: чуть сгорбленная дюймовочка, зеленые глаза косят, чересчур короткие волосы смешно топорщатся. Смотрит на мужа с обожанием, на меня настороженно.

– А эта публикация поможет ему стать известным? – спрашивает.

Я киваю. Мне не хочется разрушать наивную веру в любимого.

Перед нами на столе развернут свежий номер. Константин любуется своей фотографией в газете. Жена, прильнувшая к нему, шепчет восторженно:

– Костенька, Костенька, гений ты мой, гений… Счастье-то какое, Костенька…

Я смотрю на их престарелые нежности, искренние и чистые, и оба они кажутся мне юными и прекрасными.

– Ну, спасибо, мы пойдем, – Блох подхватил увесистую стопку газет, – такси ждет. У меня сегодня презентация в библиотеке. Ах, да, книгу-то забыл вам подарить…

Он протягивает мне «Пятнадцать лет вместе с Дорониной». На обложке три лица, наполовину закрытые масками: Татьяны Васильевны, самого автора и его дорогой Сони.

Прихрамывая, старик тащит газеты. Соня пытается отнять у мужа драгоценный груз.

– Дай я, дай я понесу! Тебе нельзя, нельзя тебе, Костенька!

– Я мужчина! – решительно отстраняет ее муж. – А ты женщина…

Соня семенит за ним к выходу, все еще пробуя отнять газеты. Он не дает.

А я стою, ошеломленная чужим бесхитростным счастьем, и смотрю им вслед.

– Ты что-то, мать, слишком увлеклась этой историей, – обнимает меня за плечи Паша, – сентимента-а-аль-ная к сорока годам стала.

– При чем тут мой возраст, – обиделась я. – Отстань!

– Да забудь ты о них, это все ненастоящее. Это все они сами себе придумали, чтобы не сойти с ума от одиночества. Такой же суррогат, как и его книга. Как там его – Блох или Мох?

– Паш, иногда мне кажется, что как раз у нас все ненастоящее… А у них – подлинное.

– Дура ты! – махнул рукой коллега. – Ты просто устала…

Не знаю, что на меня нашло, – я схватила самую толстую книгу со своего стола – и шарахнула критика по голове. Паша вскрикнул от неожиданности, потер ушибленное место.

– Ну, мать, ты окончательно спятила! По-моему, тебе пора в отпуск. Нервы совсем никуда…

Я взяла в руки книгу Блоха и стала листать. Нашла эпизод и про лифт, и про пьесу. Из уст автора это звучало гораздо смешнее. Что ж – графоман есть графоман. Сидела, пила чай и вдруг бог весть отчего заплакала. Как Блох у лифта с отвергнутой пьесой…

Через несколько дней написала заявление на отпуск. Наверное, Паша прав – я действительно очень устала.

Совершенно здорова

Я не хочу на прием к психиатру. И не хочу на прием к наркологу. Я не сумасшедшая и уж точно не наркоманка. Хотя первое утверждение, пожалуй, с легкостью можно опровергнуть.

Вот, к примеру, что написано в моей карте амбулаторного больного. Речь о том, по каким критериям должно определяться психическое состояние нормального человека:

ориентировка во времени, месте, собственной личности полностью сохранена;

на вопросы отвечает по существу;

расстройств восприятия и мышления не обнаруживает;

эмоциональная сфера не нарушена.

Подумалось: да у кого из нас не нарушена эмоциональная сфера? Достаточно один раз в жизни пережить потерю близкого человека, и она будет нарушена навсегда. Настоящая боль не оставляет камня на камня от представлений о нормальности. Я уже не говорю о мелких ежедневных комариных укусах быта, обидных пощечинах семейной жизни или изнуряющей мороке с долгожданными младенцами…

Мне нужно всего лишь поменять права. Потому что впереди дачный сезон, и я не могу остаться без машины. И вот я сижу в дурацкой длиннющей очереди таких же горемык.

Минут через сорок, чувствуя, что эмоциональная сфера нарушена непоправимо, захожу в кабинет, на котором написано «Психолог». Теперь посещение его стало обязательным для желающих получить или обменять права.

Миниатюрная, ярко накрашенная врачиха, похожая на клоунессу на пенсии, пошебуршав, как мне показалось, специально, бумажками на своем столе, добродушно интересуется:

– Жалобы есть?

Я мотаю головой.

– Вредные привычки имеются?

Так и хочется съязвить: «Да, я принимаю наркотики и пью водку. Ну, и курю, конечно же». Но главное – не умничать. Сохранять, что называется, адекватное поведение. Откуда мне знать – есть ли у врачихи чувство юмора?

– Пожалуй, нет, – серьезно говорю я, чувствуя, что дерматиновый стул, на котором сижу, жесткий и неудобный. Не облокачиваюсь, руки на коленях – пусть вся моя поза говорит о кромешной нормальности.

– А алкоголь употребляете?

Что надо ответить? Нет, совсем? Скорее всего, она не поверит. Но если я скажу – да, то насторожится.

– Так употребляете или нет? – видимо, пауза слишком затянулась.

На вопросы надо отвечать по существу и ни в коем случае не выказывать расстройств восприятия.

Врачиха несколько обеспокоена моим молчанием.

– Извините, – спешу я оправдаться, – задумалась.

– О чем же? – искренне интересуется она, незаметно пододвигая к себе мою карту и вооружившись ручкой.

– О том, что вам отвечать. Скажу – да, выпиваю, так вы мне что-нибудь не то в карте напишите, а скажу нет – не поверите. Какой нормальный человек совсем не пьет?

– Так-так, – кивает она, улыбаясь, – а дети у вас есть?

– Есть.

– Годы рождения?

– Чьи? Ах, да…

И тут я задумалась. Во-первых, не сразу и вспомнила. А когда вспомнила, еще несколько секунд соображала: чей год рождения назвать первым – старшего или младшего? Почему-то сначала назвала младшего, а потом старшего. Врач что-то быстро записала в моей карте. Наверное, о том, что ориентировка во времени нарушена.

– Послушайте, – попыталась объяснить, – понимаете, я поэт и воспринимаю мир несколько иначе, не так, как обычные люди, ну, рассеянность и все такое…

– Да? – она даже ручку отложила от удивления. – Стихи пишете? Может, прочтете?

Ситуация становилась абсурдной. Сейчас я в кабинете у психолога начну читать стихи. Например, вот этот верлибр:

Не нахожу себя нигде.
Не нахожу себя никогда.
Да и не хочется вовсе.
Без себя спокойнее как-то.
И ближних любить проще.

Ну, ясно. Расстройство восприятия и мышления. Ориентировка в собственной личности вообще никуда не годится. Ну почему, почему никогда нельзя вести себя естественно? А нужно всегда притворяться?

И я назло самой себе читаю психологу этот верлибр. Врачиха замерла, смотрит на меня неотрывно и даже ничего не записывает. Потом говорит:

– Вообще-то я больше люблю, чтобы рифма была. И душевные – как у Есенина.

– Может, уже поставите мне диагноз, и дело с концом? – внезапно раздражаюсь.

– Какой диагноз? – смеется она. – Вы совершенно, совершенно здоровы.

– Так уж и совершенно? – мне стало даже немного обидно.

– Абсолютно. Вы еще сумасшедших не видели, – она шлепнула печать и протянула мне справку. – Просто иногда людям нужно, чтобы их выслушали.

– Спасибо.

– Передайте там, чтобы следующий заходил.

И вот я выхожу из кабинета и с превосходством человека, только что прошедшего сложное испытание, громко и отчетливо объявляю:

– Следующий!

Профессор Ли

Как только мы с мужем вошли в санаторий китайской медицины «Тайцзи», нам вручили красочную брошюру, бодро повествующую о том, что все, ну буквально все болезни можно вылечить иглоукалыванием и массажем. Цены были прямо пропорциональны несбыточным обещаниям.

– На улицах в массажных салонах намного дешевле, – возмутился мой муж, изрядно обгоревший за два дня, похожий на свежесваренного рака.

Откуда ни возьмись перед нами возникла услужливая молодая китаянка в белом халатике и с чайничком зеленого чая в руках.

– На улице, – улыбаясь, сказала она на довольно сносном русском, – работают непрофессионалы. А у нас специалисты высокого класса. К нам вот даже ваши звезды приезжают лечиться.

– Какие еще звезды? – поморщился муж.

Китаянка быстро пролистала брошюру и ткнула пальцем на фотографию такой же красной, как мой супруг, Лолиты Милявской, стоящей среди тщедушного улыбающегося персонала санатория.

– Рекомендую вам для начала сделать диагностику у знаменитого профессора Ли.

– Чем же он знаменит? – поинтересовалась я.

– Он помог уже очень многим, – туманно ответила девица. – Кстати, и чиновники высокопоставленные у нас тоже лечатся, – добавила она, полагая, вероятно, что этот аргумент должен сразить нас наповал.

– Ну, если чиновники, – развел руками муж, – тогда стоит попробовать.

В фойе санатория было душно и стоял запах затхлой сырости, точно такой же запах царил и в нашем отеле; из-за большой влажности вещи не высыхали по трое суток. Курортники в резиновых шлепках, с полотенцами и такими же брошюрами в руках, вяло прохаживались, ожидая, видимо, своей очереди.

Мы пошли вслед за китаянкой к лифту, поднялись на четвертый этаж и оказались в просторном и таком же душном кабинете. Балконная дверь была открыта настежь, и с улицы доносилась привычная для Китая смесь звуков: неумолчная болтовня, смех и крики детей, пронзительное и слаженное щебетание птиц.

За столом сидел маленький сухонький старичок с густой шевелюрой седых волос и рассеянными, с поволокой глазами: он вроде смотрел не на нас, а мимо, и даже не мимо, а сквозь нас.

– Кто первый? – спросила китаянка.

– Ладно, давайте я, – вызвался муж.

Профессор Ли ловко измерил ему давление, затем уложил на кушетку и долго мял живот, после велел перевернуться на живот и прощупал позвоночник и шею. Что-то быстро пробормотал. Сел за стол, написал несколько иероглифов на бумажке и протянул медсестре.

Она взглянула и изрекла:

– Вам не хватает энергии ян, у вас синдром хронической усталости и быстрая утомляемость… Вам рекомендован курс иглоукалывания и массажа.

У меня китаянка зачем-то подробно выспрашивала про детей, про обстоятельства родов и про мои женские дни, напирая на то, что в моем возрасте, конечно же, должны быть сбои. Но, узнав, что их нет, недовольно покачала головой, заподозрив меня в неискренности. После этого за меня взялся профессор Ли. Несмотря на его тщедушность, руки у эскулапа оказались очень сильными. Он так давил мне на живот, что я вскрикивала и корчилась, а медсестра бесстрастно интересовалась:

– Тут больно? А тут?

– Да нет-нет, не больно, просто неприятно, – сдавленно отвечала я.

Наконец экзекуция закончилась. Профессор Ли что-то уныло промяукал китаянке. Она кивнула и поглядела на меня с таким выражением, что со мной, дескать, все давно уже ясно.

– У вас, – обратилась она ко мне, – слабая энергия инь, хроническая усталость и быстрая утомляемость. Рекомендован курс иглоукалывания и массажа.

– Ничего другого я и не ожидала, – сказала я. – Иглоукалывание не хочу – вряд ли оно вернет мне недостающую энергию инь… А вот массаж, пожалуй, можно попробовать.

– А вы? – спросила она у моего супруга.

– А я бы сделал иглоукалывание. Хотя бы разок, ради интереса.

– Хорошо, – она разочарованно кивнула – мы оказались отнюдь не выгодными клиентами санатория «Тайцзи». Не то что Лолита или высокопоставленные чиновники. – Пойдемте со мной, иголки ставит сам профессор.

– А массаж? – спросила я.

– Массажист пока занят. Через десять минут вас пригласят.

Мужа увели, а я осталась одна. Села в плетеное кресло в коридоре, уставшая, обалдевшая от жары. Думала о том, какое все-таки странное это понятие – отпуск. Ждешь его целый год, мечтаешь, строишь планы и копишь деньги, а потом – многочасовой перелет, изнурительная жара и какие-нибудь сомнительные удовольствия типа острой китайской кухни или вот этого иглоукалывания… Налила себе зеленого чаю – терпеть его не могу, но здесь пью, он у китайцев везде: в кафе, в магазинчиках, в массажных салонах. И везде одинаково безвкусный.

Ко мне подсела стройная дама лет пятидесяти пяти в длинном голубом сарафане и светлой соломенной шляпке с оранжевым цветком. Романтичная, словно из девятнадцатого века.

– Давно приехали? – дружелюбно поинтересовалась она.

– Два дня назад.

– А откуда?

– Из Москвы. А вы?

– Я из Владивостока. Живу здесь уже второй месяц. Работа у меня такая, – охотно пояснила она. – Ну, и как вам Хайнань?

– Да не поняла еще. Жарко уж очень… И дорого все. Во Вьетнаме, да и в Таиланде намного дешевле. Дешевизна Китая – это, как выяснилось, абсолютный миф…

– Дорого – да. Но вообще это отдых на любителя. Я вот, например, просто влюблена в Хайнань.

– А вы тут что – массажи делаете или иглоукалывание?

– Не только. Вообще – курс лечения прохожу: иглоукалывание, массаж, фитотерапия.

– Фитотерапия?

– Травки всякие полезные пью для очищения организма.

– Как вам кажется, профессор Ли не шарлатан? Он хоть что-нибудь в медицине смыслит?

– О, профессор Ли – легенда Саньи. Его переманивают медцентры друг у друга. Диагноз может поставить только взглянув на человека.

– А по-моему, у них один диагноз: синдром хронической усталости и быстрая утомляемость.

– Ну да, – усмехнулась дама, – это болезнь почти всех людей, живущих в мегаполисе. Стремительный ритм жизни, расшатанная нервная система – отсюда и все болезни.

– А эта, медсестра его… Откуда она так хорошо русский язык знает?

– Так это дочь профессора. А русский она у нас учила, в России.

– Понятно… И все равно – эта парочка не внушает мне доверия.

Дама пожала плечами, потом наклонилась ко мне и почему-то шепотом сообщила:

– А вы знаете, говорят, у профессора у самого трагедия… Рак, жить несколько месяцев осталось. А дочь его, медсестра которая, зовут ее, кстати, Син, несколько лет уже лечится от бесплодия, никак ребеночка родить не может…

Я сидела ошеломленная. Так вот почему она так подробно расспрашивала про мои роды.

– Но откуда у вас такие сведения?

– Да рассказали одни русские. Они живут тут лет пятнадцать и дружат с семьей профессора.

– Так почему же… почему же профессор Ли и его дочь не вылечатся по своей методике?

– Вы серьезно? – рассмеялась дама. – Как может массаж или иглоукалывание вылечить рак или бесплодие?

Тут вышел из лифта мой муж. На руке, возле запястья, виднелся свежий кровоподтек.

– Боже, что с тобой? – вскочила я.

– Ничего страшного, – мужественно улыбнулся он, словно прошел смертельно опасное испытание. – Это от иголок…

Мимо по коридору, старчески семеня ногами, прошел профессор Ли и, даже не взглянув на нас, исчез в своем кабинете. Видно было, что он очень-очень устал. И, наверное, его мучают ужасные боли…

– Проходите на массаж, – крикнула мне из кабинета бесплодная дочь профессора.

– Пожалуй, нет. Не сегодня. Тем более что я обгорела немного… Пойдем отсюда, – я взяла мужа под руку и, не попрощавшись со своей случайной собеседницей, потащила его к выходу из мрачного, полного трагических тайн «Тайцзи».

Мы не торопясь шли к нашему отелю, муж весело рассказывал про иглоукалывание, а я молчала и думала о том, что нигде, нигде нет спасения от человеческих несчастий – ни дома, ни в заморских странах…

Вальс

Время от времени меня обуревало страстное желание заняться бальными танцами. Однако то и дело их прерывали роды: одни, вторые, третьи… Наконец после третьих я решила заняться всерьез. Не родами, конечно, – танцами.

Нашла их в доме культуры недалеко от дома и совсем недорого – четыреста рублей за двухчасовое занятие. Дотащилась туда к полвосьмого, промаявшись в огромной пробке. Хотелось только одного: лечь в кровать и закрыть глаза. И больше ничего. Ну, еще поесть, конечно. Но занятия танцами как бы предполагали диету – задорно прыгать, высоко поднимая колени на джайве, с моими габаритами было затруднительно.

Вошла в довольно большой, с зеркалами, зал – и меня встретила доброжелательная Эмилия Аркадьевна, стройная и бодрая, лет сорока шести.

– Я в первый раз, – доложила я, – можно?

– Ну, конечно, – просияла она, и, словно спохватившись: – А вы оплатили занятия в кассе?

– Да, конечно.

– Хорошо. Итак, начнем. Все встали лицом к зеркалу. Отрабатываем основные шаги вальса.

Кроме меня в зале была еще немолодая, лет пятидесяти, пара, с нескрываемым восторгом осваивающая танцевальные навыки, и толстуха лет сорока с лиричным мечтательным взглядом и давно вышедшей из моды химической завивкой мелкими колечками.

– Раз-два-три, раз-два-три, – приговаривала Эмилия Аркадьевна, – с пятки, с пятки начинаем, ведем ногу по полу, по полу…

У меня ничего не получалось. Я чувствовала, что танцую слишком резко: танец – точнейший барометр состояния человека. Нервозность от долгого рабочего дня, усталость от пробок – все это мешало сосредоточиться.

– Вам музыка не мешает, нет? – иронично усмехаясь, Эмилия Аркадьевна смотрела на мои жалкие попытки.

– В смысле? – не поняла я.

– В смысле, что вы танцуете совсем не в музыку. И начинаете всегда с носка, а надо с пятки. Смотрите на себя в зеркало! Смотрите на меня, наконец! Так, теперь встаем в пары.

Я растерянно оглянулась вокруг, но никакого партнера, разумеется, для себя не обнаружила. Ксения и Кирилл (так звали немолодых танцоров), обнявшись, как мне показалось, чуть больше, чем было необходимо для вальса, смотрели на меня слегка высокомерно. Но на помощь пришла Эмилия Аркадьевна, ловко соорудив женскую пару из меня и мечтательной толстухи.

– Вика, – представилась она, неловко обхватив меня за талию.

– Олеся, – я положила руку ей на плечо.

От нее пахнуло сложной смесью запахов пота, духов и нового, только из упаковки, капрона.

– Приготовились! – скомандовала Эмилия Аркадьевна. – И-и-и… Раз-два-три, раз-два-три…

Мы с Викой неловко топтались, боясь отдавить друг другу ноги.

– Вика, не надо так сильно прижимать к себе Олесю, – сделала нам замечание тренер, – а вы, Олеся, не смотрите все время вниз, расправьте плечи и поднимите голову!

И мы опять грузно, толкаясь, закружились по залу.

– А меня бросил муж, – вдруг ни с того ни с сего сказала Вика.

– Почему? – я не знала, как реагировать на это внезапное признание.

– Нашел другую, – горько усмехнулась она. – Говорит, я толстая, не слежу за собой и не вызываю у него сексуального желания…

– Раз-два-три, раз-два-три, – громко, перекрикивая музыку, считала Эмилия Аркадьевна.

– А у нас ведь двое детей, – продолжала Вика, – дочь, ей двенадцать, и пятилетний сын.

– Да уж… Но, может, вернется? – попыталась я посочувствовать и нечаянно наступила своей партнерше на ногу. Было совершенно очевидно, что мы давно танцуем не в музыку.

– Нет, не вернется. Он уже на развод подал. Другая женщина у него… А я вот – на танцы пошла. Думала, поможет. Похудеть, и просто чтобы не сойти с ума.

Я посмотрела ей в глаза – светло-зеленые и влажно-бархатистые, как тина в нашем дачном прудике. Губы пухлые и напряженные – держится из последних сил, чтобы не разреветься.

– Ой, глядите-ка, – закричала Ксения, которая подошла взять с подоконника бутылочку с водой, – там Дмитрий Маликов!

– Где, где Маликов? – Эмилия Аркадьевна и Кирилл кинулись к окну, как будто певец был восьмым чудом света.

Вика тоже подбежала к окну и вдруг вскрикнула, села на корточки, по-детски закрыв лицо руками, и расплакалась.

– Что случилось? – всполошились все. – Вика, что с тобой?!

– Муж мой, – всхлипывала моя партнерша, – муж мой, все говорят, очень похож на Маликова…

– Ну и что, – не поняла Эмилия Викторовна, – а чего реветь-то?

– Не говори им, ладно? – попросила меня Вика.

Я кивнула и посмотрела в окно. Певец, красивый и элегантный, сел в черный мерседес на соседнее с водителем место и укатил, не обратив на нас, смотрящих на него из окна, никакого внимания.

– Итак, продолжим, – хлопнула в ладоши Эмилия Викторовна. – Вика, ты сможешь заниматься?

Женщина помотала головой.

– Что ж… Поезжай домой тогда.

Вика молча, ни с кем не попрощавшись, поплелась к двери. Все оставшееся занятие я танцевала с Эмилией Викторовной. Это было, конечно, лучше, чем с предыдущей партнершей, но вообще-то я бы предпочла все-таки танцевать вальс с мужчиной.

Лето звонкое

Анна Петровна поджидала Марину каждые выходные. Нет, она, конечно, не лезла прямо в день приезда, когда дети, обалдев от вкусного травянистого воздуха, носились, гомоня, по участку, а взрослые торопливо выгружали набитые московской снедью сумки. Но зато уже утром, часов в одиннадцать, являлась, и неизменно с тетрадкой, бережно прижатой к груди. Полная, суетливая, с глупыми, крашенными в рыжий цвет кудряшками волос. Марина так толком и не могла определить, сколько ей лет – пятьдесят пять, шестьдесят?

– Я не помешала, нет? – скороговоркой спрашивала она, проходя без приглашения в гостиную. Усаживалась в Маринино любимое кресло. – Я вот тут кое-что написала…

Марина тягостно вздыхала: теперь ничто в ближайшие полчаса не спасет ее от натиска этой полубезумной графоманки.

– Написала несколько, на мой взгляд, выдающихся стихотворений, – скромностью соседка явно не отличалась. Торопливо открывала тетрадь. – Вот, послушай:

Лето звонкое, лето дачное,
даже старцам ты красишь щеки,
ну а мне ты приносишь удачу,
я с тобою навек в расчете…

Марина слушала и вспоминала рассказ Чехова «Драма», где писатель, измученный дамой, читающей длиннющую бездарную пьесу, в конце концов не выдержал и дал ей по башке тяжелым пресс-папье. О, как же она его понимала! Она сама то и дело искала глазами какой-нибудь увесистый предмет…

– Ну как? Только честно! – требовала похвалы графоманка.

Почему, почему Марина никак не может сказать этой дуре, что она совершенно бездарна, и прогнать ее? А все потому, что как-то раз, несколько лет назад, когда они с мужем уезжали за границу, Анна Петровна почти месяц кормила их кота. И теперь, вот уже третье лето кряду, мучает Марину своими виршами. Говорит, что после смерти четвертого мужа у нее вдруг открылся дар! Кроме того, Анна Петровна была еще невероятно болтлива, что усугубляло ситуацию. После чтения стихов она настырно ждала приглашения попить чаю.

За чаем тараторила без умолку, постоянно теряя нить разговора:

– Ой, тут у нас, представляешь, опять свет отключали на двое суток! Ну, думаю, все – протухнут мои продукты. Пошла к Тамаре, соседке, ну ты знаешь, в зеленом доме живет, у нее еще взрослый сын, который недавно развелся. Прикинь, жена сбежала к любовнику, оставила ему двух дочек-погодок – пять и шесть лет! Какая гадина! Я просто не понимаю таких женщин – как можно бросить своих детей! Родила – так и воспитывай. Вот я бы никогда не бросила!

– Анна Петровна, но у вас же нет детей, – улыбалась Марина.

– Нет! Но если б были – никогда бы не бросила! А о чем я вообще говорила?..

– О том, что отключили свет.

– Ах, да, да. Ну так вот. Прихожу я, значит, к Тамаре. Тамар, говорю, ты как свои продукты хранишь без холодильника? А она мне – вот идиотка! – варю, говорит, их и ем. Ну не дура? Варит она. Ей хорошо, у нее-то плита газовая, а у меня электрическая. Как я варить-то буду без света?! Потом пошла к Галке сухорукой, ну, ты знаешь, у нее одна рука не действует, как плеть висит, с детства, еще муж-то у нее прошлым летом умер от инфаркта. Прямо на даче… Ей, кстати, сейчас племянница по хозяйству помогает. Да и то – что это за помощь! Племянница, представляешь, притащилась к Галке на дачу с полугодовалым младенцем, дескать,

ее парень бросил, жениться не хочет… Так вот, спрашиваю я, значит, у Галки, чего она с продуктами-то делает, когда нет электричества, а она говорит: «Да какие у нас продукты! У нас вообще жрать нечего, вот в лес ходим, грибы собираем…»

Потом Толяна, как всегда пьяного, на улице встретила. Он говорит, что, мол, одни консервы жрет целыми днями и ему все по фигу… А я что, тоже должна одни консервы жрать? Мне нельзя, у меня гастрит, врач сказал, можно только отварное и ни в коем случае не жареное…

И холодно – ужас! Обогреватель-то не включишь. А печку топить – угореть боюсь. Я же тебе рассказывала, что мой прадед вот так и угорел…

Поначалу Марина жалела эту одинокую глупую бабу, даже пробовала помочь ей со стихами. Не научить, нет, но хотя бы объяснить, что банально, а что нет, рассказала подробно, насколько могла, о метрах, рифмах, о метафорах и сравнениях – такой дачный мастер-класс. Но толку не было никакого. Есть люди, которые ничему не могут научиться.

Все первое лето, когда у Анны Петровны открылся «дар», Марина добросовестно занималась со своей ученицей. «Каждый пишущий стихи совершенствуется», – вспоминала она слова своего мастера по Литинституту. Ладно, думала, пусть соседка совершенствуется, жалко, что ли. Может быть, ей так легче будет переносить свое одиночество.

А осенью Анна Петровна прочла ей новый «шедевр»:

Осень золотая рыжею лисицей пробежала по небу, листьями тряхнув.
Может быть, она мне еще приснится или сказкой станет, словно в старину…

На второе лето Марина уже всерьез задумалась о том, как ей избавиться от навязчивой гостьи, поэтический пыл которой катастрофически набирал обороты. Ссылалась на занятость и усталость, но Анна Петровна была непреклонна:

– Мариночка, да я не отниму у тебя много времени, я просто хочу поделиться с тобой радостью творчества и прочту всего пару коротеньких стихотворений!

И она читала:

В моем саду нет места сорнякам,
с годами становлюсь я строже…

А Марину так и подмывало продолжить:

Хлестать крапивою хочу вас по щекам,
по ягодицам отхлестать бы тоже.

Но она говорила:

– Да, первая строка хороша: «В моем саду нет места сорнякам». Вы знаете, дорогая Анна Петровна, в этом определенно что-то есть…

– Да пошли ты ее куда подальше, – советовал муж, видя, как жена мается.

– Но ты же помнишь, она ведь кормила нашего кота…

– Что же, теперь всю жизнь отрабатывать будешь?

– Ой, не знаю, что и делать.

Каково же было удивление Марины, когда на третий летний сезон, окончательно окрепнув в поэтическом мастерстве, соседка, небрежно листая подаренную ей Мариной книгу стихотворений, заявила:

– Нет-нет, это никуда не годится! Что это за строка «В городе дождь добрый с утра…»? А к вечеру он злой, что ли? А вот это? «Я его приручу, сядет, как пес, у ног». Дождь как пес? Сядет у ног? Помилуйте – что за чушь! Да вы просто испортили книгу!

«Научила на свою голову», – вздохнула Марина, но не могла отделаться от мысли, что в чем-то графоманка права… Но как, как из милой одинокой соседки с наивными рыжими кудряшками, балующейся стишками, родилось это самоуверенное чудовище, нагло размышляющее о поэзии, о ее, Марининых, стихах, да еще таким менторским тоном?

– А вот теперь послушайте, как я написала о дожде, – не унималась доморощенная поэтесса. – И сравните:

Дождь барабанит пальцами по карнизу,
И по лужам топает где-то снизу,
И целует, целует мое окно,
Я лежу обнаженная – вот оно…

Этой дождливой эротики Марина выдержать уже не могла. Представлять обнаженную соседку было противно.

– Вон! – истерично закричала она. – Вон из моего дома!

Анна Петровна осеклась, испуганно заморгала глазами, зачем-то потерла руками щеки, словно желая смыть только что нанесенное оскорбление. Губы ее сжались, задрожали. Встала, гордо подняв голову и расправив плечи.

– Нельзя так с поэтами! Нельзя! – сказала обиженно. – Поэт в России больше, чем поэт! И, уж поверьте, время рассудит – кто из нас поэт, а кто графоман! – и стремительной походкой направилась к калитке.

А Марина свое стихотворение про дождь все-таки немного переделала.

Старая дача

Прошло двенадцать лет с тех пор, как старики продали свою дачу. За все прошедшие годы они ни разу не говорили об этом, словно исполняя болезненный, но необходимый обет молчания.

Продали так продали. В какой-то момент Тоня с мужем поняли: все, ездить туда они больше не могут. Машины у них нет, а пешком четыре километра идти невмоготу, еще и с сумками. Да и за садом-огородом ухаживать в тягость, хоть и любили раньше возиться с землей. Особенно Тоня. Соседки прополку терпеть не могли, а Тоня наоборот: сядет с утра в грядки и бережно травинки выдергивает, освобождая от натиска сорняков посадки. Нравилось ей, когда руки в земле и травой пахнут, даже отмывать не хотелось. Разговаривала она с землей ласково, как с живой, и хвалила ее, и журила; чудилось Тоне, что Бог не только на небе, но и здесь, рядом с ней, на земле, работает ее руками…

Но пришел, видно, срок. Старели они с мужем тихо и неприметно, особенно не мучаясь от болезней, а просто слабели и ссыхались, покорно, как осенние травы.

И вдруг нестерпимо захотелось увидеть их старый дом в последний раз. Кто это предложил – муж или жена – даже теперь и не вспомнить. Понимали, конечно, что там давно хозяйничают другие люди, что, может, уже и дома-то самого нет, застенчивого и щелястого, а стоит какой-нибудь гордый и самоуверенный трехэтажный красавец, и дела ему нет до сумасшедших стариков, когда-то ходивших по этой земле. А им целовать ее хотелось, но молчали всю дорогу, прижавшись друг к другу на заднем сиденье.

Машину вел старший сын, усатый и серьезный, сам уже отец троих детей.

– А если столкнетесь с хозяевами, что им скажете? – недоумевал он.

– Так ведь конец октября, будний день, скорее всего, там сейчас никого нет, – надеялись старики.

Машину оставили у ворот. Только вышли – крепко пахнуло осенью, не городской с чахлыми, словно обессиленными запахами, а провинциальной, настоянной на лесных пахучих ветрах. Острый запах прелой листвы, присыпанной первым, нежно и быстро тающим снежком, под ногами глинистые лужицы, прихваченные робким голубым ледком. Жаль было ломать его, и старики шли осторожно, дыша колким, острым, родным воздухом, любовались, стараясь надышаться этой красотой впрок, чтобы хватило до конца жизни.

Господи – вот он! Вот он, дом-то их! Все еще стоит, миленький. И ничего, ничегошеньки не изменилось. Легко открыли, откинув проволоку, покосившуюся калитку, будто только вчера сами и закрыли ее, по сырой заснеженной тропке подошли к крыльцу, постояли, не смея подняться. Тоня погладила облупившуюся стену дома, серо-желтую, мокрую. Прижалась щекой, чувствуя шершавые трещинки краски. Вспоминала все, что случилось с ними в этом доме. Здесь лето за летом нянчилась она с детьми, Сереженькой и Славой. Слава и привез их сюда сегодня. А Сереженька… Сереженька умер в шесть лет от менингита. Вот по этой дорожке ехал он на велосипеде, крича: «Смотрите, я сам! Я сам!» Вот тут, над смородиновыми кустами, была протянута веревка, где сохли его маечки и шортики, а вот тут, возле крыльца, стояла скамейка, где они с мужем сидели по вечерам, отмахиваясь от комаров, и обсуждали, что и где посадить…

Тоня посмотрела на мужа. Он сидел на ступеньке крыльца спиной к дому и смотрел на лес.

– Сем, ты чего, болит что-нибудь?

– Зря мы, Тонь, сюда приехали, – вздохнул он, – зря… Так бы хоть спокойно померли, а теперь всю душу разбередили…

– А помнишь, помнишь, как мы за грибами ходили! Сколько белых-то было, а? Пропасть! А вот здесь, между двумя березами, всегда висел гамак, ты в нем любил дремать после обеда… А помнишь…

– Помню, все я помню, Тонь. Поехали домой, а? Славка там заждался. И темнеет уже. Да и увидеть нас тут могут – неловко.

– Да-да, конечно, – осеклась Тоня, – поехали, поехали.

Еще раз взглянула сокрушенно на неухоженный участок (разве при ней он таким был!), попрощалась мысленно. Понимала, что теперь уже навсегда.

– Хорошо, что хоть дом-то наш не снесли, – отвернулась, смахнула слезы.

– Тонь, не наш. Чужой. Понимаешь – чу-жой.

– Прощай, милый дом, – прошептала Тоня, взяла мужа под руку.

– Прощаешься, как с живым прямо.

– А он и есть живой. Мне кажется, и мы с тобой живы, пока он стоит. А как снесут, и помрем оба.

Старики медленно, поддерживая друг друга, побрели к машине.

На следующее лето хозяева, накопив наконец достаточно денег для постройки нового просторного дома, быстро снесли старый, убрали все до единого кирпичики от раскрошившегося фундамента – расчистили площадку под строительство.

* * *

В начале зимы от сердечного приступа умерла Тоня. Муж пережил ее всего на несколько месяцев.

Мертвый груз

Я не люблю слово «презентация».

Гораздо лучше – представление.

Представление книги.

Да, я написала книгу. Так, рассказы о том о сем.

Дочь должна гордиться своей матерью. Но она не гордится, а лишь удивляется: зачем? Ей десять, и читать она не любит. И я даже не знаю, прочтет ли она мои книги в будущем.

А моя бабушка, ей уже скоро девяносто, всю жизнь проработавшая учителем русского языка и литературы, никак не может понять, почему я столько времени трачу на написание книг и ничего на этом не зарабатываю. «Какой толк от того, что ты пишешь? Твои книги продаются? Нет, не продаются. Тогда на кой?»

Я и сама не знаю – на кой.

За полгода в крупном книжном магазине купили всего два экземпляра.

– Приезжайте и забирайте свои книги, они не продаются, а место занимают, – сказали мне строго.

– А хотите, я вам их просто подарю?

– Нам хранить негде, а читать некогда. Забирайте.

– А если не заберу?

– Тогда мы отправим их на утилизацию.

– Куда-куда?

– На утилизацию, – повторили сурово.

– Но это же все-таки книги, а не какие-нибудь вредные отходы, – пытаюсь пошутить.

– Да как сказать, – заметили философски.

Я – невыгодный клиент. А книги мои – неликвидный товар. Права была моя бабуля. Она явно знает толк в рыночной экономике. Но я все равно пишу. Хотя, может быть, и не стоит. Смотрю на сложенные в коридоре стопки своих шедевров и не знаю, что с ними делать. Иногда беру тряпочку и вытираю пыль. Иногда использую как подставку для сумок и перчаток.

– Отдай, – сочувственно говорит муж, – пусть хотя бы у метро продают по пятьдесят рублей.

– Вместе с какими-нибудь любовными романами и предсказаниями астрологов?

– Пусть так. Все же лучше, чем они будут мертвым грузом лежать.

Боже мой, как это точно – мертвый груз. Вот именно. Мертвый груз живых мыслей, радостей и разочарований, мертвый груз моей единственной жизни.

Сегодня у меня представление книги. На шумной и бестолковой книжной ярмарке. Беру микрофон и смотрю в зал, состоящий из пяти человек. Две девушки сидят, опустив головы, тыкают что-то сосредоточенно в смартфонах, дедуля дремлет – намаялся, бедный, устал от книжного буйства, и еще две тетеньки, лет пятидесяти пяти, болтают о своем. Наверное, давно не виделись, а тут, на ярмарке, как раз и встретились.

– Здравствуйте, дорогие друзья! – говорю им.

Девушки даже не оторвались от смартфонов, дедуля вздрогнул, испуганно огляделся и тут же снова задремал, тетеньки перестали разговаривать и выжидающе уставились на меня, видимо, соображая, что интереснее: предстоящее действо или их собственная беседа.

– Спасибо, что пришли, – продолжаю. – Я хочу представить свою книгу повестей и рассказов, которая называется «Провожать меня не надо». Мне трудно сказать, о чем она. Обо мне, о вас, о жизни вообще. Писала я ее долго, собирала по крупицам эти истории. Может, у кого-то есть ко мне вопросы?

Девчушки так и не оторвались от своей чудо-техники, дедуля, очевидно, привыкнув к микрофонному бубнежу, больше не просыпался, а две дамы невозмутимо продолжили разговор, по всей вероятности, более содержательный, чем мой рассказ о книге.

И – я не знаю, для кого – начинаю говорить о героях своей книги, о том, почему вообще ее написала. Про Литинститут и его незабываемые семинары, про прекрасных мастеров, у которых мне довелось учиться. Говорю и о том, что, даже если кажется, что писать бессмысленно, все равно нужно продолжать это делать.

Я старалась не смотреть в зал, а глядела вверх, на металлические перекладины павильона, на холодные и огромные лампы дневного света. Когда я наконец окинула взглядом зал, то обомлела: он был почти полон. Откуда-то появились люди, пусть и случайные, слетевшиеся на звук микрофона, как мотыльки на огонь, но все же, все же…

Мне задавали вопросы, и я отвечала. Я уже не считала, что пришла сюда зря.

– Кто хочет купить книгу? – спросила, обнадеженная, в конце встречи. – Пожалуйста! Цена сто рублей.

Кофе, кстати, в кафе на втором этаже стоило сто пятьдесят.

Никто не сдвинулся с места. Желающих потратить даже такую незначительную сумму не оказалось.

– Тогда я готова подарить…

О, что тут началось! Налетела толпа, все тянули руки, все хотели получить мою книгу бесплатно. Но они хотели, хотели иметь ее у себя дома, хотели читать ее!

Я дарила и дарила, подписывала и подписывала. И даже почти уже не завидовала Карине Вербанян, прославившейся в интернете забавными историями о маленькой девочке Игруне. К Вербанян стояла огромная очередь, все мечтали получить автограф модной интернет-дивы.

Стопка книг у меня в коридоре несколько уменьшилась. Кстати, одну книгу все-таки купили. Подошла девушка с серьезным сероглазым взглядом и сказала:

«Не надо дарить, я куплю». Мне даже как-то неловко было брать с нее деньги. Словно я грабила средь бела дня.

Возможно, со следующей моей книгой будет та же самая история. И у меня никогда не появится столько читателей, сколько у Донцовой, которую в пример мне ставит моя бабушка. И дочь вряд ли, повзрослев, оценит мои труды. И я все так же время от времени буду протирать пыль с новых стопок изданных и привезенных домой книг или использовать их как подставку для сумок и перчаток.

Зачем?

Я не знаю.

Рассказы 2002–2009

Мамаиха

Вообще-то звали ее баба Надя. Она отворяла свою калитку, когда мы, малышня, гурьбой проносились мимо, и, схватив кого-нибудь из нас за руку, спрашивала: «Ты это чей же такой будешь?» Ребенок вырывался и убегал, хохоча на всю округу.

Это была старуха лет семидесяти, высокая, худая, всегда нелепо одетая, с добродушным лицом и странным взглядом – смотрела так, будто вот-вот скажет что-то важное, откроет тайну.

Она жила на даче круглый год, держала в своем хозяйстве козу и кроликов, бодро шныряла целыми днями туда-сюда по двору, сажала, полола, удобряла. Старик ее, дед Сергей, был уже плох, постоянно кашлял и часами лежал на открытой веранде, обложенный старыми журналами «Наука и жизнь», медленно листая скрюченными пальцами покоробленные сыростью страницы.

Меня Мамаиха знала хорошо – мы с ее внуком Сашуней трех лет от роду мылись однажды вместе, в одной ванночке. Эту трогательную историю она рассказывала мне потом много лет подряд с неизменным восторгом.

– А, Катюша! – окликала она меня, восьмилетнюю. – Куда это ты бежишь, деточка?

– Купаться, баба Надь, – бросала я и исчезала.

– А как мама-то?! – кричала она мне вдогон.

Но я делала вид, что не слышу, – вот интерес болтать со старухой!

Мы любили подшучивать над ней. И каждый раз придумывали новые шалости.

– Баба Надь, баба Надь, – орали мы наперебой возле ее дома.

Она выскакивала испуганная, в детской панамочке в горошек, с тяпкой в черных земляных руках.

– Баба Надь, коза твоя в лес убежала, а там ее кабан задрал! Честное слово, сами видели, – врали мы, еле сдерживая смех.

Мамаиха бледнела, бросала тяпку и бежала в лес. А мы, хохоча, прятались за соседний дом и ждали ее возвращения…

Или притворялись, что кому-то из нас плохо, ребенок ложился прямо на дорогу, разумеется, напротив ее дома, стонал и звал на помощь. И каждый раз Мамаиха простодушно верила нашим выходкам – выбегала, охала, суетилась, бежала в дом за какими-то лекарствами, а мы тем временем сматывались.

Мы смеялись над ее валенками, которые она не снимала даже в жару, над ее голубой наивной панамкой в белый горошек, над байковым цветастым застиранным халатом, на котором давно не было пуговиц, и вместо них в двух местах полы скреплялись большими поржавелыми булавками.

Нас забавляло, что вот она, такая старая, несуразная, еще живет на свете непонятно зачем со своей глупой козой и больным кашляющим дедом.

И, казалось, Мамаиха была год за годом все такая же и не старилась вовсе, а потом, вдруг, в одно какое-то лето все изменилось: я выросла, старуха сгорбилась, дед умер.

Исчезли куда-то ее коза и кролики, медленно и вяло обихаживала она свой огород. Трава постоянно опережала ее усилия, и отвоеванные куски черной земли вновь накрывала волна сорняков.

К тому же она стала плохо слышать, и, пользуясь этим, мы, уже не дети, а четырнадцатилетняя шпана, забирались ночью к ней в сад и воровали сочные, необыкновенно вкусные яблоки, хотя у каждого из нас росли точно такие же.

Мамаиха все так же часто выходила на дорогу, но теперь просто так, без дела, грустно глядя подслеповатыми глазами по сторонам, будто искала что-то. Увидев меня, улыбалась и никак не могла вспомнить мое имя, поэтому долго перебирала сразу по несколько, быстро и как-то виновато, словно боялась, что я не дослушаю и уйду.

– Это кто же?.. – щурилась она. – Ирочка-Леночка-Катенька?

– Катя, Катя, – говорила я, уже раздражаясь и торопясь пройти.

Да и о чем мне было говорить с ней?..

Она долго смотрела мне вслед, сгорбленная, в своей горошковой панамочке и всегдашних валенках, смотрела на пыльную белесую траву, на острых веселых ласточек, на ускользающую жизнь…

– Одна я совсем, – сказала она мне как-то, – ты бы зашла в гости к старухе…

И я старалась не ходить по той улице, где она жила, – снова ведь прицепится: «Ирочка-Леночка – Катенька?» – и начнет рассказывать, как я и ее внук Сашуня мылись в одной ванночке. Скучно.

Прошло еще несколько незаметных лет.

Я закончила институт и вышла замуж. Выбиралась на дачу все реже…

Увидев однажды Мамаиху, я не сразу узнала ее. Это было существо почти согнутое пополам, будто она хотела кому-то поклониться в ноги, да так и замерла вдруг на полпути, с большим горбом на спине и трясущейся головой. Существо стояло на дороге напротив своей калитки, опираясь на березовую сучковатую клюку, и напряженно всматривалось вдаль. Голова тряслась так, что, казалось, она наотрез отказывает в чем-то невидимому собеседнику.

– Здравствуйте, баба Надь.

Старуха вздрогнула, заулыбалась, нервно шаркнула клюкой о пыльную щебенку.

– Я – Катюша, не узнаете?..

С минуту она силилась вытащить из своей памяти зыбкий клочок прошлого, угадать в дрожании моего имени знакомые звуки.

– Ка-тю-ша? – наконец пробормотала она по слогам, словно так ей было легче справиться с забвением, и снова замолчала.

Нет, не вспомнила.

– Ну, помните, я Катенька, Катя, мы с Сашуней в одной ванночке мылись!

Она встрепенулась, сжала узловатыми пальцами клюку, закивала, заплакала.

– Катюша, деточка ты моя… Катюша… – приговаривала она, – какая ты большая-то стала! Выросла-то как!

Голос ее дребезжал, трясся вместе с головой, обрывался, возникал снова. Она потянула меня за руку, в дом. К своему удивлению, я согласилась.

Ее сад весь зарос высокой сочной травой, и редкие цветы были почти не видны, не в силах вырваться из крепких и тугих травяных пут.

Никакой живности здесь уже давно не было.

В доме пахло опрятной старостью, комнатным солнцем и пряниками.

– Сейчас чайку, – хлопотала она и глядела на меня ласково и неотрывно, будто не верила, что у нее и вправду гостья.

– Давайте я помогу.

– Нет-нет, – испугалась она, – я сама, сама.

Выцветшие зеленоватые обои с кувшинками, старое, с мутным зеркалом, трюмо, книжный шкаф с перекошенными створками, забитый «Наукой и жизнью», посекшиеся желтенькие занавески на окне. За окном – яблони. Яблони… Воспоминание, острое, как укол булавки, – вкус этих яблок…

На стене – «Утро в сосновом лесу», где веселые медвежата радуются рассвету, как сто, двести лет назад, и довольно большая фотография лихого усатого красавца в рубашке с расстегнутым воротом.

Засахаренное варенье, пряники и вазочка карамелек из моего детства. Сейчас и не купишь таких.

– Баба Надь, а кто это? – снова смотрю я на фотографию.

– Ах, это… Это мой Сергей, еще в женихах здесь, – оживляется Мамаиха. – Ух, и любил же он меня. Шибко-шибко!

Пытаюсь вообразить ту далекую шибкую любовь и соразмерить кашляющего старика на веранде, которого уже и нет на свете, с его счастливой черно-белой молодостью.

– Он ведь украл меня, Сереженька-то, – таинственно сообщает старуха, – ночью, на лошадях, я испугалась ужасть как. Отец-то у меня – у-у-у! строгий был – ни в жисть, говорит, этому балаболу тебя не видать! Я – в слезы, а отец на своем стоит. Да Сережа-то мой тоже не промах – украду, говорит, и все тут. И украл. Во как! Я, говорит, в тебя насмерть влюбился и всю жизнь, говорит, любить буду…

– А отец?

– А что отец! Дело-то уж сделано. Ничего, простил потом – дочь ведь.

Смотрю на сидящую напротив меня девяностолетнюю полуживую старуху и представляю ее юной, тонкой, мчащейся ночью на лошадях, и вдруг замечаю, что глаза ее глядят на меня неправдоподобно молодо.

– Можно я буду иногда заходить к вам?

Удивляется, долго глядит на меня, не верит, что я всерьез.

– Может, помочь что, – смущаюсь я, – и так просто – поговорить…

– Заходи, деточка, заходи, – наконец кивает она и долбит прыгающей в непослушных руках ложкой окаменевшее варенье.

Снова смотрю на фотографию молодого деда Сергея и снова представляю его в ту зимнюю ночь – дерзкого, влюбленного, живого.

Прощаясь, Мамаиха сует мне в руку горсть своих ветхозаветных карамелек.

В то лето я так и не пришла к ней. А на следующее – она не приехала.

Несколько лет дом ее стоит заброшенный. С крыши ветром срывает куски старого рубероида. Краска выцвела от дождей и солнца и облупилась. Крыльцо покосилось вбок, и трава, тут же захватив его врасплох, дерзко проросла между прогнившими деревянными ступенями. Никто не живет в этом доме. Сиротливо щурятся от солнечного света его темные окна. Кругом – только наглая, обезумевшая от свободы трава.

Иногда я беру одну из подаренных мне карамелек и сосу ее, перекатывая, точно камешек, во рту, и чувствую, как она уменьшается и начинает таять.

Тогда я прокручиваю назад хрупкое ломкое время: мне восемь лет, и я не пробегаю мимо, а останавливаюсь поговорить с Мамаихой. А когда ребята шутят про козу, кричу: «Не верьте, не верьте, они все врут!»

А вот я – подросток, и я не ворую яблоки в ее саду, не избегаю встреч с назойливой скучной старухой. Подхожу к ней и говорю: «А я к вам, в гости. Расскажите мне о себе. Как вы жили? Кого любили?» И она улыбается и долго-долго рассказывает мне счастливые снежные небылицы.

Псевдоним

Сразу после развода с мужем я поехала на кладбище. Не то чтобы я хотела в тот день нагнать побольше мрачного символизма, нет, просто получилось так, что все дела в связи с разводом были отменены, и я подумала: почему бы не навестить бабушку?

Я приезжаю к ней обычно четыре раза в год: зимой, весной, летом и осенью. Времена года на кладбище выглядят ярче, словно смерть выявляет самое существенное. Зима – мертвенней, весна – наглей, лето – роскошней, осень – пронзительней. Меня всегда поражало, как разрастаются кладбищенские цветы. На некоторых заброшенных могилах такие огромно-душистые пионы, какие я вот уже много лет безуспешно пытаюсь вырастить на своей даче. И бабочки, бабочки здесь хороши необыкновенно. Летучие бархатные метафоры хрупкости. И они будто ручные: бесстрашно садятся на плечо и замирают, сложив свои тонкие крылья, – знают, что люди, пришедшие сюда, их не тронут. Я сажусь на узкую, нагретую солнцем скамеечку и ни о чем не думаю. Я никогда не разговариваю с бабушкой. Просто сижу и смотрю на облака над ее могилой, на две корявые березы вдалеке, на высокую траву вокруг. Иногда встречаюсь глазами с каменным портретом: молодая улыбающаяся бабушка легкомысленно глядит на мир, на меня, пытающуюся в который раз втиснуть ее судьбу в две строгие четкие даты: 1922–1989. Между ними прочерк, в прочерке – война, погибший муж, смерть трехмесячного сына, второй брак, трое детей, одна внучка, счастье, горе, будни, праздники, надежда, отчаяние, мечты, болезнь, похороны, слезы, память. И надо всем этим – жара, тяжелая бессловесная жара сонного лета, комариное пиршество, мушиный разгул, солнечное приторное варево и я, пристально всматривающаяся в то, чего уже давно нет.

Никакого традиционного ужаса кладбища на меня не наводят. Мыслей о вечности тоже. Если попробовать определить чувство, которое я испытываю, приходя сюда, то это неловкость, виноватость. Виноватость живого перед мертвым. И еще – удивление.

Мысль о том, что люди смертны, *удивляет* меня всякий раз. Она никак не может стать обычной и понятной. Она всегда нова. Но в ней нет никакой мистики. Скорее геометрия, особенно в сочетании с зимним пейзажем. Белый снег, черные плиты. Экономия цвета, строгость линий. Гармония конца.

Никаких выводов, никакой дидактики. Только эпитафии. Квинтэссенция боли. Шифр памяти. По пути к бабушке читаю: «Помним. Любим. Скорбим», «Твоя любовь – очаг в душе моей, / Тебя уж нет, а он горит сильней». И уже на повороте к бабушке беспомощное, непохожее ни на что, совсем простое: «Ты ушла – и я один на свете». И кругом венки – аляповатая вычурная мозаика небытия.

Я хотела бы, чтобы на моей могиле вместо искусственных цветов лежали осенние листья. Сухие легкие осенние листья. Бурые, желтые, ярко-красные, с неровными загнутыми краями-крыльями. Лежали бы и чуть шевелились от ветра. И шел светло-голубой невесомый дождь. И никто не приходил и не говорил ненужных плакучих слов. И если что-нибудь и было высечено на камне, то ничего трагичного и крикливого, а, например, такое: «Будь же ты вовек благословенно, / Что пришло процвесть и умереть…» А на похоронах не было бы никакой траурной музыки. Лучше что-то легкое из Моцарта или вообще ничего. Тишина.

Смерть не банальна. Банален ритуал, сопутствующий ей. Но, с другой стороны, ритуал спасает повторяющиеся действия от бессмысленности и делает их по-своему красивыми.

Детство. Жара. Как сейчас – вязкая гнетущая жара. Бабушка лежит не двигаясь и не улыбается мне, когда я целую ее в щеку.

– В лоб, в лоб целуй, – шепчут мне в спину.

Взрослые встревожены, они хотят, чтобы было все правильно. Бабушка в черном шерстяном костюме. Ей, наверное, ужасно жарко, думаю я и снова целую ее в теплую родную щеку.

Рыжую сухую глину вкладывают мне в руку и велят кинуть на бабушку, а я прячу ее за спину и, пока никто не видит, разжимаю пальцы. Мне кажется – бабушке будет неприятно, если я кину в нее глиной. Взрослые так не считают. Ритуал облегчает им скорбь. Они хотят, чтобы я делала все, как они: целовала в холодный лоб, кидала землю на крышку гроба, плакала в тряском душном автобусе, ела траурные салаты, сидя за длинным чопорным столом. И не удивлялась почти ничему – разве что песням, которые горланили за полночь изрядно подвыпившие дальние родственники.

Я пробую маленькой тяпкой справиться с густой разросшейся травой. Она острая и режет руки, выдернуть ее не получается, поэтому я пытаюсь обрубить возле корней. Работа продвигается медленно, неотвязно жужжат комары, вечереет. Сажусь на скамейку передохнуть.

– Ты бы лучше лопатой. Есть лопата-то? – слева от меня вырастает фигура щуплого пьяненького мужичка с сочувственной улыбкой и лопатой в руках. – Давай-ка подмогну!

Он ловко перелезает через ограду и проворно подсекает упругие травины, приговаривая: «Вот так мы ее… Вот так… Щас…»

– Да что вы, не надо… Я сама.

– Да ладно, – машет он рукой, – чего там…

Мужичок быстро справляется с травяными зарослями. Теперь явственно видны чахлые розовые флоксы и посаженные мною в начале лета бархатцы. Я складываю срубленную траву в стожок, на обратном пути выброшу. Мой помощник садится рядом со мной на скамейку, вытирает тыльной стороной костистой руки влажный лоб, из кармана сальных защитного цвета штанов достает бутылку дешевой водки.

– Помянем? У тебя здесь кто?

– Бабушка.

– У-у-у. А у меня жена. Вон там, – машет он куда-то вбок. – Два года как умерла. Рак. Сорок два всего. Вот так-то. Ну, как говорится… Пусть земля пухом. – Он запрокидывает голову и пьет из горла.

Я смотрю на его загорелую, с подвижным, резко выпирающим кадыком шею, на жилистые руки, крепко и страстно держащие бутыль, будто микрофон, в который выплескивает он свою песнь. Наконец оторвавшись, он извлекает из нагрудного кармана пахнущей потом рубашки складной стаканчик, делает такое движение рукой, будто стряхивает градусник, потом, как фокусник, переворачивает и наливает туда горькую жидкость забвения.

– Давай, – говорит он.

Мне не хочется обидеть его, и я пью. Водка теплая и вязкая, жгучей волной обдает горло. Я морщусь, фыркаю, хватаю из стожка траву, вдыхаю ее свежий, острый аромат. Мужичок добродушно посмеивается. На щеке у него мертвый комар и растертая дорожка крови.

– Че, непривычно без закуси-то? А я привык. Как жены не стало, так и пью. Одиноко… А ты – замужем?

Отмахиваюсь от вечерних, надоедливо пищащих комаров; они уже роем вьются над нами. Становится прохладнее.

– Нет. Сегодня развелась.

– Сегодня? Врешь! – оживляется он.

– Сегодня.

– Ну ты даешь! А че развелись-то? Другую, что ли, нашел?

– Понимаете, нам не о чем стало говорить.

– И все? – подскакивает мужичок. – Только поэтому?

– Только поэтому.

– А сколько прожили-то?

– Пять лет.

– Дети есть?

– Нет. Он не хотел…

– Любила его?

– Да как сказать… Когда жили – думала, что нет. А сейчас… Сейчас даже не знаю. Наверное, любила.

– Да… – ненадолго задумывается он и вдруг находит выход из ситуации. – Знаешь что, за это надо выпить.

На этот раз он сначала наливает мне, вероятно, ввиду небудничности повода, мы чокаемся, и он снова артистично запрокидывает голову и пьет прямо из горла. На этот раз песня длится, по-моему, чуть дольше.

– А я любил свою-то, – говорит он, – и видишь, как обернулось… Болела она долго, целый год почти. Я все ходил к ней в больницу… А потом раз – и не стало. Почему так, а?..

Он жалобно смотрит на меня пьяными глазами. Я думаю, как потом в каком-нибудь своем рассказе опишу его позу и глаза, вопрошающие о том, на что нельзя ответить. Бутылка уже выпита и брошена под ноги. Она лежит этикеткой вверх, и я читаю странное, неуместное название: «Нарком». На фоне красного знамени мужественное лицо человека, похожего на Маяковского, с широко открытым ртом. Я пытаюсь предположить, о чем он говорит. Наверное, что-нибудь о великом деле революции…

Оставив своего случайного собутыльника сидящим на скамейке возле моей бабушки, ухожу. Иду между могил медленно, не торопясь, чувствуя, что как-то просветленно пьяна, читаю имена и даты. Больше всего меня поражает смертельная, в прямом смысле этого слова, практичность. Забота о кусочке земли для *будущего* мертвого тела, выраженная вот в таких надписях:

Паппе
Игорь Валентинович
(1928–1994)

Паппе
Ольга Сергеевна
(1926–)

От этого делается как-то не по себе.

Перед некоторыми памятниками останавливаюсь всякий раз, когда прохожу мимо. Мама, папа, я – дружная семья. Маме тридцать четыре, папе тридцать семь, и пятилетний смеющийся мальчик. Большой продолговатый камень с неровными краями; здесь всегда много цветов. Все трое умерли в один день. Я пытаюсь сопоставить каменную неподвижность с их внезапно оборвавшимися жизнями, гадаю о причине, кожей ощущая, как тону в болотистом слове *судьба,* и нет ни одной ветки, за которую можно было бы ухватиться, чтобы не погибнуть. Я почти не испытываю жалости, я не задаю никаких вопросов. Я не знаю, кому их задавать.

В сущности, мне некуда торопиться. Мужа дома нет, и никого нет, и я знаю: как только я войду, пустота накроет меня с головой, и кухонный жесткий свет одиночества остудит горький чай.

Волна печального опьянения внезапно наталкивает меня на странную мысль: найти себе здесь, на кладбище, псевдоним, сделав живой чью-нибудь давно уснувшую фамилию.

Мне всегда казалась моя фамилия чересчур обыкновенной. Тем более для писателя псевдоним – вещь чрезвычайно важная. Он может принести удачу, а может сделать графоманом. Может поддержать, а может помешать. Взять себе новое крепкое имя, проросшее вместе с травой из земли, – в этом что-то есть.

Иду в ту сторону кладбища, где никогда не была. Народу уже совсем мало, поэтому на меня никто не обращает внимания. Кстати, это, наверное, единственное место, где никто ни на кого не обращает внимания.

Медленно брожу между памятниками и крестами. В розовом закатном небе, надсадно каркая, величественно пролетают вороны. От дальнего леса веет влажной прохладой. Красноватые отсветы падают на изумрудную траву, мягко покачивающуюся от сумеречного ветерка.

В итоге на примете у меня оказываются пять фамилий: Сон, Непугайло, Рябоконь, Брэде, Арфо.

Итак, Сон. В общем-то звучит. Но что-то здесь есть неестественное, и наверняка будут издеваться, называя Явь.

Непугайло. Несколько настораживает созвучие с пугалом. И, по-моему, не слишком выразительно. А хотелось бы совместить оригинальность и естественность, звук и смысл.

Рябоконь – это, конечно, звучно и ярко. Но смысл… Рябой конь – все равно что Пегий козел (Пегокоз) или Щипаная курица (Щипакур). Не годится.

В фамилии Брэде есть нечто романтическое, французское. Кроме того, привлекает созвучие с бредом, что всегда приятно: хорошо, когда текст отдает легким, едва уловимым сумасшествием. Но все-таки что-то не то. Слишком изысканная. Даже слегка пижонская.

И последняя – Арфо. Пронзительность и нежность арфы слышится в ней… Просторное зеленое *а,* задумчивое фиолетовое *ф*…

Фиолетовые флоксы в густой зеленой траве. Август, гамак, в котором лежу я, семилетняя, на крыльце уютная, в белом с красными маками платье бабушка, чистящая грибы. Я завороженно смотрю на ее проворные руки, на блестящие, похожие на маленьких рыбок, кусочки мясистых коричневых шляпок, плавающих в большом тазу с водой. Я совершенно, неправдоподобно счастлива… Как много еще будет в жизни таких вот *незаметных приступов счастья,* и как мало из них запомнится…

Арфо – изящная фамилия. Изысканная. Даже слишком изысканная. Может быть, нужно чуть поскромнее. Попроще.

Невостребованный пятидесятитрехлетний Афанасий Арфо в круглой рамочке долго смотрит мне вслед, идущей к выходу, чтобы успеть на последний автобус. Я благодарна ему за воспоминание…

А может, и не нужен мне псевдоним? Не нужен, как не нужны живым вещи мертвых, а мертвым – вещи живых? Вдруг чужая фамилия прилепит ко мне, как жвачку к столу, чужую судьбу, и от нее уже невозможно будет отделаться?..

Сажусь в автобус и напряженно думаю обо всем сразу: о бабушке, о теперь уже бывшем муже, только сейчас понимая, как все-таки привыкла к нему за пять прожитых вместе лет и как болезненно и долго буду отвыкать, о мужичке, с которым мы пытались превратить бесплотную память во что-то осязаемое, теплой струйкой текущее в горло, облегчающее на некоторое время застоявшуюся, как вода из-под завядших цветов, боль, пять не пригодившихся мне фамилий, проводивших меня до ворот кладбища и закрывших их за моей спиной…

К автобусу торопливо подходят люди. Водитель лениво поглядывает в зеркало заднего вида, дожидаясь, когда зайдет последний пассажир и можно будет закрыть двери. В кабине у него играет бодрая веселая музыка. Из труб крематория идет вялый, будто разжиженный воздухом, серый дымок. Медленно, словно туча на солнце, наползает на кладбище вечер. Я вдруг чувствую, как сильно устала за весь этот долгий день, и прикрываю глаза. Будущее меня почти не тревожит.

Недальнее плавание

Приятно заснуть ненадолго, а проснувшись, увидеть все тот же томный пейзаж: зыбкий контур гор, спокойная бирюзовая прохлада моря, стремительный белый катер, горячий даже на вид песок и под зонтами на шезлонгах разомлевшие от жары курортники. Рядом со мной лежит отец. Он в синих плавках и белой капитанской с якорем кепке, в наушниках, в которые, смешиваясь с шумом прибоя, течет «Война и мир». Он давно разведен с моей мамой и женат на женщине, сидящей подле него на песке и помогающей строить хорошенькому четырехлетнему мальчику что-то похожее на большой муравейник. Из моря, мокрый и радостный, выходит еще один мальчик, постарше, и присоединяется к ним.

Отец поворачивает ко мне голову.

– Жарко… Пива хочешь?

– Нет.

– А поесть?

– Нет.

– А я, пожалуй, выпью. – Он запрокидывает голову и долго, жадно пьет. Потом вытирает тыльной стороной руки влажные губы. Бросает пустую бутылку в пакет и снова закрывает глаза. Пытаюсь представить, какой он сейчас ощущает вкус: морской соли с пивом…

И мы опять молчим. Он слушает роман, его жена и сыновья заняты недолговечной постройкой, я бездумно смотрю на море.

Мне нравится загорать, нравится плавать, нравится объедаться вечером в ресторане креветками и печеными осьминогами, а ночью, лежа в душном номере, думать об этом курортном рае, о том, что я должна быть здесь счастлива, но ничего подобного не испытываю.

Иногда я подхожу к отцу и пытаюсь заговорить, но пятнадцать лет отчуждения не дают пробиться искренности, и разговор получается холодным и неживым, как воздух из кондиционера.

Я честно играю с братьями, но не чувствую никакого родства, я учу маленького алфавиту, но никогда не смогу объяснить ему, из каких букв состоит слово *счастье* – эти семь букв, стоя друг за другом, редко оправдывают свое соседство и почти никогда не совпадают с собственным смыслом.

Малыш берет меня за руку и тянет к морю. Я подчиняюсь. У него смешной круг с глупой добродушной коровой, он отчаянно бьет по воде руками и верещит; он никуда не плывет, но взволнован предвкушением своего недальнего плавания. Терпеливо объясняю ему, что надо делать руками и ногами, но у него ничего не получается. Передав его встревоженной мамаше, уплываю туда, где кончаются буйки, где море свободно от голов, где вода холоднее и синее.

Мало что осталось в моей памяти от классической Греции. Ни величия, ни дыхания веков. Только мерцающие пустяки: очень вкусное шоколадное мороженое в тенистом афинском кафе, усталое потное лицо негра, продающего на пляже никому не нужные музыкальные диски, белая фуражка загорелого отца, розовые скрюченные осьминоги в таверне на берегу, теплые неторопливые вечера, остро пахнущие морем.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.